

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. В.Н. КАРАЗИНА

на правах рукописи

ШИЛЬМАН МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ

УДК 122/129 + 930.1

ИСТОРИЧЕСКАЯ РИТМИКА:  
ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Специальность: 09.00.03 –  
социальная философия и философия истории

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук

Научный руководитель –  
Мамалуй Александр Александрович,  
заслуженный деятель науки и техники Украины,  
доктор философских наук, профессор

ХАРЬКОВ – 2005

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Раздел 1. КОННОТАЦИИ ПОНЯТИЯ РИТМИЧНОСТИ ИСТОРИИ....	13
1.1. Ритм исторического бытия в метафизике истории.....	14
1.2. Рекогносцировка понятия ритма истории.....	27
1.2.1. Ретроспективный анализ онтологического термина <i>rhythmos</i> ....	30
1.2.2. Идеальная ритмика античной философии истории.....	40
1.3. Историческая ритмика в терминах «множественности».....	48
Выводы к разделу.....	56
 Раздел 2. АКТУАЛИЗАЦИЯ «ИДЕИ ПРОШЛОГО» КАК ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЛЯ.....	 58
2.1. Понятие идеи прошлого как параметризованного множества.....	62
2.2. Историческая реальность актуального прошлого.....	74
2.2.1. Конституция исторического поля .....	81
2.2.2. Ритм источников как результат типологии следов прошлого...	87
2.3. Становление как (пред/до)история.....	94
2.3.1. Вечное становление прошлого.....	101
2.3.2. Лабиринт становления и роль концепта как (про)хода в лабиринте.....	105
2.3.3. Непонятыйная «природа» и мод(е/у)лирующие функции концепта.....	109
2.3.4. Практика объективации исторического прошлого.....	114
Выводы к разделу.....	120
 Раздел 3. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОШЛОГО ЯЗЫКОМ ИСТОРИИ.....	 122
3.1. Нарративное использование языка как освоение текстуальной реальности прошлого.....	124
3.1.1. Процессуальное оформление истории посредством сюжета...	125

3.1.2. Тропологическое измерение идеальной организации исторических событий.....	130
3.1.3. Ритмическая природа тропов.....	137
3.1.4. Особенности синтеза нарративного мира прошлого.....	142
3.2. Не-лингвистически ориентированная практика истории.....	149
3.2.1. Констатирующий дискурс структуралистской истории.....	158
3.2.2. Полиритмия исторической реальности.....	163
3.2.3. «Тотальная история» как методологический регулятив исторического письма.....	167
3.2.4. Количественные ряды как источники структур мыслимых историй.....	175
Выводы к разделу.....	180
Выводы к работе.....	182
Список использованной литературы.....	186
Приложение.....	202

## ВВЕДЕНИЕ

**Актуальность темы.** Тема данного диссертационного исследования приобретает особую актуальность в неоднородном поле проблемных представлений о ритмичности истории. В пределах этого поля складывающаяся ситуация, пути разрешения которой вынуждены искать социальная философия и философия истории, может быть охарактеризована как сфера последствий многочисленных поворотов и вызовов, протянувшихся чередой сквозь последние полвека. Историческая дисциплина, пережив эффект «историографического переворота», инициированного в русле становления структуралистской истории, подверглась постструктуралистской атаке на рациональные формы исторического мышления. Итогом этого столкновения стало контрастное размежевание основных точек зрения на проблемы, корнящиеся как в самой природе исторического знания, так и в практике его получения и передачи.

«Лингвистический поворот» в философии истории, чье начало связывается с идеями Х. Уайта, повлек за собой исследования А. Данто, Ф. Анкерсмита, Й. Рюзена и др., результатом которых стало общее принятие того факта, что история не обладает собственным языком, и следовательно, есть необходимость переключения философского интереса с вопросов истинности познания прошлого – на прагматические аспекты коммуникация с прошлым. Постмодернистская философия истории констатировала зыбкость границ между «историей» и «вымыслом», а также заведомую «непрозрачность» репрезентирующего языка, что скомпрометировало, по ее мнению, любую спекулятивную или позитивистскую ориентацию. Анализ истории и прошлого как текста, концентрирующий внимание на способах создания исторических нарративов и на механизмах придания им эффекта реальности, стал как никогда важен в условиях наблюдающегося «перепроизводства истории».

Другой ряд проблем, вытекающих из методологической несамостоятельности исторической науки, вышел на передний план в связи с ростом

достижений естественных наук. «Археологический поворот», последовавший вслед за появлением новых технических средств и, следовательно, новых возможностей получения, обработки и передачи информации, существенно расширил возможности исторических исследований, но вызвал изменение понятия исторического источника. Подходы Ф. Броделя и его последователей из школы «Анналов», равно как и концепции И. Валлерстайна и др. представителей мир-системного анализа, обострили вопросы о природе исторических объектов, исторических источников и, в общем смысле, о структуре исторической реальности. Необходимость решений этих проблем в позитивном ключе с использованием потенциала междисциплинарных методик составляет оппозицию текстуально-комбинаторному подходу к истории, но не охлаждает интереса к проблемам эпистемологии, рассмотрение которых невозможно без теоретизирования, использующего сугубо философские идеи.

Понятие ритма оказывается на перекрестке проблем обоих родов. Ритм выступает как неотъемлемый элемент неклассической философии; в то же время он является полноправным элементом процессуального понимания истории. При этом конструктивный диалог между различными точками зрения на проявление ритмичности донельзя усложнен. Лингвистически ориентированная философия трактует ритм в качестве приметы художественности исторического дискурса (Р. Барт), черты поэтизации исторических данных (Х. Уайт), аспекта повествовательной формы исторического знания (Ж.-Ф. Лиотар). В то же время социально ориентированная научная мысль склонна исследовать ритм в связи с трансформацией во времени исторических структур или систем (Ф. Бродель, И. Валлерстайн) или как показатель плотности исторических источников (П. Вен, Э. Ле Руа Ладюри).

В диспозиции, где требования рациональности и результативности исторического исследования вступают в спор с проектами эстетического экспериментирования над исторической работой в целом, сфера исследо-

вания ритмов приобретает особое значение как область, интерес к которой разделяют и наука, и искусство. Совмещение в ритме черт длительности и прерывности, его принадлежность и к эстетическим, и к математическим категориям, ненормативная акцентуация образующих его оппозиционных элементов делает феномен ритмичности своеобразным посредником между различными формами исторического мышления. Именно поэтому историческая ритмика как предмет философского анализа в качестве сферы, охватывающей все разнообразие ритмических проявлений, обнаруживающихся на различных стадиях и при различных процедурах формирования исторического знания, может претендовать на статус концепта, коммутирующего различные теоретические позиции и разрешающего напряжения между ними.

**Степень научной разработанности проблемы** можно оценить, лишь подчеркивая поливалентный характер сопряжения понятий «история» и «ритм». В традиционном ракурсе, доставшемся нам в наследство от метафизики истории, мысль о ритмичности Истории отсылает к схемам нормативной периодизации, базирующимся на философских позициях, согласно которым история *in toto* мыслится как «всемирная» или «глобальная». В этом случае речь идет о характеризующемся ритмом исторического бытия реальном процессе, в ходе которого поступательно воплощается идея разума (И. Кант), или разворачивается универсальный диалектический принцип (Г.В.Ф. Гегель).

Интеллектуальная реакция на проекты, утверждающие универсальность исторического ритма, выразилась в создании циклических и стадийных концепций, в рамках которых осуществлялся поиск ритмичности в Истории. Циклический механизм «жизненного ритма» цивилизаций был предложен в концепции О. Шпенглера, исследование ритмики мировой социально-культурной динамики было проведено П. Сорокиным. Как ответвления спекулятивной философии истории, системы, предложенные Л. Гумилевым, Э. Даусоном, Н. Данилевским, К. Куигли, Л. Мэмфордом бы-

ли сориентированы на выявление закономерности хода истории, который мог быть определен через циклические повторения унифицированных форм. В этом смысле подобные схемы неявным образом отсылали к «ритму эпох» Августина или «ритму времен» Дж. Вико. Для нашего исследования принципиальным было зафиксировать тот факт, что в моделях, появляющихся под эгидой теории цивилизации, историческая ритмика нивелировалась, упорядочиваясь в глобальном историческом ритме, который рассматривался как частный случай ритма Вселенной (А. Тойнби), или как демонстрация логики прогресса человечества (К. Маркс).

Генетическую связь с вышеназванными теориями сохранили современные модели глобальной истории, в которых продолжается поиск общего для всех цивилизаций ритма изменений (Ю. Яковец), ритма глобально-формационного развития (Ю. Семенов), ритма исторического процесса как выражения системной эволюции (В. Пантин). В то же время, реставрация циклической точки зрения на исторический процесс свидетельствует о своеобразии очередной ре-актуализации античного философского наследия. Доминантой последнего выступает понятие изначальной ритмичности универсума, открывающейся посредством числа в различных сферах искусства и социальной жизни. Анализируя возникновение понятия ритма единого исторического целого, есть смысл пересмотреть древнегреческие концепции, придающие ритму фундаментальный онтологический статус. К таковым следует отнести понимание ритмичности как характерной формы выражения мировой закономерности (Парменид), диалектики противоборствующих начал (Эмпедокл), механизма взаимоотношений изменяющихся вещей и субстанций, или ритма Логоса (Гераклит). В философии Платона синтез представлений предшественников обусловил вывод о ритмическом характере действительности и ведущей роли ритма в мусической деятельности. Аристотель, анализируя отличительные особенности искусств как подражательных действий, распространил на них общую практику использования ритма и метра, подчеркнув творческий характер последних.

Кризис позитивистской историографии и девальвация представлений о приоритете единого целого истории выразился в критике историзма и интересе к структуралистской истории. Наиболее значимыми для исследования исторической ритмики следует считать развернутые концепции Ф. Броделя о полиритмии социальной реальности, а также исследования других представителей школы «Анналов». Среди них необходимо отметить касающиеся квантификации истории идеи Э. Ле Руа Ладюри, количественную (сериальную) историю П. Шоню, анализ рядов количественных данных Ф. Фюре. Действенность методов статистического анализа длинных временных рядов обращают наше внимание на ряд направлений в исследовании экономических, демографических, политических показателей исторических процессов. На стыке неомарксистского и структуралистского подхода к истории не вызывает сомнения продуктивность мир-системного анализа, в основу которого легли мысли И. Валлерстайна о ритмичном характере функционирования исторических систем.

Свидетельствами практической ценности статистических методов анализа служат выявляемые циклы политической гегемонии (Дж. Модельский, Дж. Голдстайн), ритмы миграционных процессов (М. Гимбутас, Е. Черных, Дж. Томсон), демографические показатели исторических систем К. Чейз-Дана. Кроме того, имеется практически бесконечный ряд работ, посвященных выявлению природных ритмов, влияющих на ритмику социальных процессов. Среди них исследования исторической динамики с точки зрения биологии (П. Турчин), климатических изменений (В. Клименко, Х. Вейс, М. Блох, Б. Пейсер), вулканической и тектонической активности (А. Нур) и др.

В русле постмодернистской философии, анализирующей процессы создания письменной истории и оперирующей лингвистическими и общими эстетическими категориями, особый интерес вызывают понимание ритма «в тексте» как одного из дифференциальных элементов эстетического сообщения (У. Эко) с подчеркиванием его роли в историческом дискур-



се (Р. Барт, М. Фуко). На этом фоне анализа дискурсивных практик оправдано пристальное внимание, которое уделяется в диссертационном исследовании концептуальным подходам к историческому знанию, разрабатываемым Ф. Анкерсмитом с позиций как нарративной философии истории, так и неклассической эстетики. Одним из опорных пунктов сопряжения текстологического и эмпирического подходов можно также считать выводы П. Вена о низкой эффективности понятий в практической истории, прочитываемые сквозь идеи Ж. Деррида о роли непонятного в современной философии и, в связи с этим, об исключительной роли ритма. Не обходя стороной идеи, индуцированные тропологической теорией Х. Уайта, наше исследование использует возможность рассмотрения акта поэтической префигурации исторического поля с точки зрения музыкальной и поэтической ритмики. Это, в свой черед, является причиной привлечения ряда специальных работ по античной метрике (Ю. Холопов), метрическим моделям стиха (Р. Якобсон), музыкальному ритму (М. Харлап) и др.

**Цель и задачи исследования.** Целью диссертационного исследования является философский анализ ритма как средства коммуникации с прошлым, динамической формы упорядочивания исторического знания и элемента репрезентации прошлого в исторических текстах. Анализ направлен на утверждение методологической роли исторической ритмики в плане историографии и эпистемологии, а также на доказательство значимости сводных представлений о ритмичности для количественной обработки исторических данных и практики создания исторических текстов.

Для достижения поставленной цели в работе ставятся и решаются следующие задачи:

- обосновать термин «историческая ритмика» как понятие, консолидирующее имеющиеся представления о ритмичности в истории;
- дать проблемную интерпретацию «идеи прошлого» и раскрыть действие ритмических механизмов ее актуализации, обеспечивающих становление и концептуализацию исторического прошлого;

- выявить ритмическую конституцию исторического поля и прояснить особенности его структурного форматирования в практике исторических описаний;
- раскрыть функции ритмических компонентов метафорического и буквалистского языков исторического дискурса;

**Объект исследования** – феномен ритма в истории.

**Предмет исследования** – историческая ритмика как структурное измерение исторической реальности преимущественно в методологическом аспекте формирования знаний о прошлом.

**Методологические основы** исследования соответствуют преследуемой в нем цели и путям ее реализации в спектре поставленных задач. К ним относятся сравнительно-исторический метод, использующий в том числе междисциплинарные подходы; формально-аналитический метод с применением элементарных математических понятий; текстологический метод, учитывающий достижения философской нарратологии. Весомую роль для нашего исследования играют достижения структуралистской методологии в приложении к теории истории и методики количественного анализа в исторических исследованиях.

Особую значимость для диссертации в теоретическом плане приобретают:

- ряд концептов философии Ж. Делеза, определяющих Идею как параметризованное множество, нуждающееся в актуализации, и развивающих мысли Ф. Ницше о «вечном возвращении» в ходе требований по различению становления и истории;
- основные идеи теории Х. Уайта, требующие рассмотрения прошлого как текста и вскрывающие метафорический характер исторического дискурса;
- исследования М. Фуко, касающиеся вопросов автономности дискурсивных практик, и мысли Р. Барта о роли фиктивных составляющих исторического дискурса;

- положения Ф. Анкерсмита о невозможности непосредственного доступа к прошлому и о его репрезентации нарративным способом;
- а также теоретические обобщения, основывающиеся на анализе приемов специальных исторических исследований: выводы П. Вена о специфической роли понятий в истории, заключения о полиритмии и составном характере социальной реальности Ф. Броделя, мысли о структуре исторических интерпретаций Р. Беркхофера и др.

**Научная новизна результатов** диссертационного исследования заключается в разработке и обосновании авторской концепции исторической ритмики, позволяющей охватить наиболее репрезентативные интерпретации ритма, фигурирующие в философии истории.

К числу наиболее существенных результатов относится следующее:

- выявлено, что конституция исторического поля опосредована до-концептуальным полем становления прошлого, которое задается ритмами актуализации идеи прошлого и представляет собой сложную ритмическую пульсацию, – прошлое как виртуальную вещь;
- определена роль концептов, накладываемых на ритмический лабиринт виртуального прошлого, как операторов общности, которые устанавливают метрику фактического основания исторического поля и тем определяют среду исторического прошлого;
- вскрыт механизм поэтизации исторических данных как завершающий акт конституирования исторического поля и заключающийся в подведении ритмов исторических источников под ритмическую фигуру тропа как под категорию;
- выдвинуты аргументы в пользу того, что создание метафорического исторического дискурса заключается в подчинении текстуры исторического поля, которая аналогична структуре идеи прошлого, – ритму нормативного сюжета, обуславливающего приемлемость создаваемой истории как нарратива;

- обоснована возможность передачи констатирующим историческим дискурсом ритма множества высказываний о прошлом без сообщения этому множеству художественной целостности;

**Практическое значение полученных результатов.** Концепт исторической ритмики служит обоснованию методологического поля, в котором различные теоретические предпочтения и философские позиции, выступающие источниками утверждения истории как единого целого или как результата комбинаторики, обнаруживают общность в приемах производства своего конечного продукта. Ряд выводов из проведенного исследования расширяют возможности философского подхода к исследованиям феноменов цикличности в социально-культурных процессах и подчеркивают необходимость поиска новых методов формализации исторических данных. Результаты диссертации могут быть использованы при анализе приемов квантитативной истории, мир-системного анализа, а также при исследовании структуры исторического дискурса. На основании сделанных в ходе исследования выводов и полученных результатов может быть подготовлен спецкурс по исторической ритмике, а также выделена и разработана отдельная тема в курсе философии истории.

**Апробация результатов.** Основные положения диссертационного исследования были представлены в форме тезисов и статей, отражающих выступления на следующих конференциях: «Світ-системна теорія і сучасні глобальні трансформації» (ХНУ, 2000 г.), III-я Международная конференция «Циклы» (СевКавГТУ, 2001 г.), X-е Международные Сковородиновские чтения (ХНУ, 2003 г.), XI-я Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (МГУ, 2004 г.), III-я Международная конференция «Hierarchy and Power in the History of Civilizations» (Москва, 2004 г.), IV Российский философский конгресс (Москва, 2005 г.)

**Публикации.** Идеи диссертации отражены в 6 статьях, опубликованных в специализированных научных изданиях.

## РАЗДЕЛ 1

### КОННОТАЦИИ ПОНЯТИЯ РИТМИЧНОСТИ ИСТОРИИ

Поднимаемая нами тема исторической ритмики является своеобразным откликом на ту озабоченность современной философии истории, которая вытекает из необходимости не только переосмыслением границ ее проблемного поля и спектра методов, позволяющих комплексный анализ исторического, но и рассмотрением способов и средств, использующихся для построения концептуальных моделей истории. Контрастируя со стилем классической философии, ратовавшей за жесткость разрабатываемых ею методов, текущий философский дискурс ориентирован на гибкое теоретизирование, что позволяет ему при анализе проблем собственно исторической дисциплины резервировать себе место для маневра в смежных областях. По мнению М. Кукарцевой «современная философия истории в ее онтологической системе осуществляет отказ от холизма в пользу менее универсальных и совсем не обязательных теорий» [70, С.42], что естественным образом вызывает и пересмотр философско-исторического наследия, и ретроспективную систематику основных философских подходов к истории.

Как считает В. Визгин, действия неклассической философии заключаются в том, что «вместо субстанциалистской... метафизики на передний план выдвигается онтология реляционизма, функционализма и... структурализма...» [32, С.44]. Речь идет об онтологии, которая по-новому задает образ «исторической реальности», – она обрамляется кавычками, переставая быть бытием вещей и событий, и решается в терминах динамического «поля» и метафорического «отношения» составляющих его проблематических элементов. Длющийся пересмотр содержания понятия исторической реальности порождает новые критерии квалификации известных на текущий момент типов философии истории. В соответствии с точкой зрения Ф. Анкерсмита (Ankersmit) философия истории разделяется на 1) историогра-

фию, 2) критическую и 3) спекулятивную философию истории [70, С.12]. В соответствии с таким делением, спекулятивной философии отводится роль по созданию моделей исторического развития, установлению объективной периодизации исторического процесса и, следовательно, концентрация усилий на выявлении реального ритма истории.

В пределах философских систем прошлого концептуальное конструирование или моделирование истории в целом, т.е. как глобальной или мировой истории, происходит, как свидетельствуют И. Савельева и А. Полетаев, «...в соответствии с временным ритмом этой концепции» [113, С.214]. Характерное для философии эпохи модерна стремление ухватить «собственный» ритм исторического процесса, зафиксировав его в схеме периодизации, привело к появлению фундаментальных схем всемирной истории. Как метафизика истории подобные конструкции пользуются в настоящее время неоднозначным интересом, но представляют несомненный интерес для выявления источников классического понимания ритмичности в истории.

### **1.1. Ритм исторического бытия в метафизике истории**

В философии И. Канта отношение к истории базируется на проводимом отвлеченно от содержательного аспекта схематическом различии между двумя видами знания. «Историческое знание, – утверждает Кант, – есть *cognitio ex datis*, а рациональное — *cognitio ex principis*» [61, С.488]. Исходя из этого определения, Кант критикует любые попытки организации истории по хронологическому принципу, так как, по его мнению, подобный принцип есть на самом деле лишь привязка к эмпирической последовательности фактов. Рационализация удостоверенных дат, ряд которых ведет в недоступное чувственному восприятию прошлое, возможна; именно она спасает от необходимости пасовать перед «идиотическим» множеством разрозненных фактов. Для этого необходимо предположить наличие принципа исторического развития, в качестве которого может выступать

принцип реализации идеи разума. Плюралистические основания кантовской философии истории заключаются в том, что, как показывает Й. Берковский [17, С.129], в качестве идеи, реализация которой составляет существо исторических перипетий, может выступать любая идея разума. Этот факт дает основание П. Велу заключить, что, согласно позиции Канта, «...очень трезвая философия истории преподносится как выбор...» [30, С.37]. Однако в любом случае можно подвести черту вслед за Р. Козеллем: Кант уверен в том, что хронология должна следовать за историей, а не наоборот [113, С.151].

Неоднозначность принципа, который должен лежать в основании исторического процесса, вызывает критику Г.В.Ф. Гегелем кантовской позиции в этом вопросе. Для Гегеля очевидно, что науке приличествует единственный метод, который есть «объясняющее себя понятие», а следовательно в основании истории может лежать единственный принцип, развертывание которого осуществляется в повторяющемся цикле его моментов, что демонстрирует универсальную форму логического движения, которая есть «...ритм, чистая, вечная жизнь самого духа...» [39, С.251]. Диалектический ритм в понимании Гегеля – это и движение духа, и движение науки в целом; именно поэтому, оценивая значение кантовской системы, он признает, что Кант «...предначертал ритм познания как некую всеобщую схему научного движения...», но отвергает этот ритм как «бездуховный» [36, 3, С.514].

Действительно, Кант понимает ритм как, прежде всего, механизм формального повторения, лежащий в основе специальных приемов запоминания. Стихотворные изречения, т.е. специфическое использование речи, которая, подобно музыке, произносится ритмически, производят ощутимый эффект, «...так как ритм содержит в себе правильный размер, что приносит большую пользу механизму памяти» [59, С.420]. Можно сказать, что для Канта ритм ассоциируется с нормативным метром (по аналогии с размеренной музыкой), и является своего рода матрицей правильности, ве-

душей к понятию о предмете вообще. Другими словами, ритм в кантовском понимании служит выражением целесообразности, т.е. формальным залогом правильности, состоящей в симметрии и связанной с понятием единства [60, С.247].

Ритму как формальному единству различных моментов Гегель противопоставляет ритм как диалектическую систему циклического обращения моментов содержательных. Ритм, согласно Гегелю, есть схема движения духа, но это не пустая форма, отражающая ни с чем не связанную правильность своих пропорций, а реальная динамическая структура, наполненная и обусловленная самим духом. Анализируя взгляды Платона на государство, Гегель вслед за Кантом также понимает ритм как правильность, но трактует его как «...единство различия моментов в идее...» [36, 2, С.200]. Так как «реальность есть идея», он акцентирует не столько идеальную, сколько реальную правильность ритмичного движения духа, где ритмика есть форма выражения диалектики. Гегель убежден, что наполнение ритма духовным содержанием придает ему все черты истинного движения. Освещая философию Ф.И.Й. Шеллинга, он очередной раз возвращается к вопросу неистинности такого ритма, который подразумевает голую структурную организацию элементов, т.е. заключается в пустой форме, в его «природном» схематизме вне духа [36, 3, С.558].

Строя свою систему, Шеллинг осмысливает ритм как общее понятие и потому естественным образом оперирует преимущественно в сфере искусства и природы. Он приходит к выводу о том, что ритм «...есть ничто иное, как периодическое членение однородного...», т.е. ритм выступает в качестве категории, гарантирующей связь единства – с множеством [141, С.195]. Областью наиболее наглядных примеров работы ритма Шеллинг считает музыку, и потому полагает ритм «первым музыкальным единством». Тем самым он фиксирует процесс объединения множества звуков в единство мелодии, в котором ритм отвечает за «...превращение последовательности, которая сама по себе ничего не означает, в значащую» [там же,



С.197]. Ритм выступает фактором сотворения некоей цельности, имеющей значение, т.е. при объединении различных, но однородных элементов, в единую структуру «произведения». Следовательно, сила ритма – сила креативная, формирующая из материала, представляющего собой однородную среду, некоторое творение, т.е. порождающая определенную вещь. Шеллинг, распространяя свои теоретические выводы в область историософии, использует метод, который, по мнению И. Василенко, представляет собой интуицию, «...которая познает через созерцание внутренних ритм или структуру представляющихся наблюдению отдельных исторических образований» [29, С.114].

Гегель оспаривает позицию Шеллинга, постулируя в качестве высшей формы знания не искусство – но философию духа, а в качестве метода познания истины не интуицию – но научную систему диалектики понятия. Одному и тому же универсальному диалектико-логическому ритму «чистого понятия» в гегелевской системе подчиняется природа, общество, история, мышление и научный метод. Эмпирическому множеству хаотических данных опыта, которые могут быть связаны в единое целое на основании одного из выбранных принципов, и формальным механизмам связи этого множества с созерцаемым единством Гегель противопоставляет разумность, составляющей природу данности. «В этой природе того, *что* есть: быть в своем *бытии* своим *понятием* – состоит вообще *логическая необходимость*... – которая, как определяет Гегель, – ...есть разумное и ритм органического целого...» [38, С.30-31]. И так как эта логическая необходимость есть содержание знания, то и природа научного метода заключается в том, что «...его ритм определяется для него им самим...» [там же, С.31]. Выявление истинного содержания, продолжает Гегель, состоит в том, чтобы предоставить содержанию «...возможность двигаться согласно его собственной природе...», для чего необходимо «освободиться от собственного вмешательства в имманентный ритм понятий...» [там же, С.32].

«Освобождение от вмешательства» предлагается Гегелем как отказ от дискурсивного мышления, которое, протекая (как минимум по психологическим и антропологическим причинам) в своем собственном ритме, искажает истинный ритм бытия. Последний, будучи имманентен всякой форме движения, выступает в качестве ритмической нормы или, другими словами, играет роль обязательного метра, обуславливающего как метрику реальности, так и метрику языка, описывающего эту реальность. В рядовом случае интерес исследователя данности акцентируется на отдельных моментах, привлекающих его внимание и приобретающих, таким образом определенную значимость. Согласно Гегелю подобное положение вещей неприемлемо, поскольку человек должен иметь равный интерес ко всему Творению, каждое проявление и каждый момент которого в равной степени исполнен духа. А. Кожев отмечает, что высший научный метод в понимании Гегеля – это состояние, в котором «...Мудрец полностью и окончательно примирился со всем, что *есть*...»; когда он не мыслит реальное в дискурсивном ритме своей рефлексии, но когда «...само Реальное мыслит в нем, отражаясь в его сознании и раскрываясь в своей собственной диалектической структуре с помощью речи Мудреца, описывающей его без каких-либо искажений [64, С.561].

Ритм мышления и ритм понятия, оговаривает Гегель в «Феноменологии духа», заведомо неравноправны и создают ритм научного познания в конфликте, который есть конфликт метра и акцента [38, С.34]. Дискурсивное мышление, полагает Гегель, создает свой ритм последовательностью акцентных ударений, т.е. чередой множественных форм суждений, и этот ритм вступает в неминуемый конфликт с ритмической структурой динамического единства понятия, разрушающей любые множественные формы. Это значит, что диалектическая структура реальности, выражающаяся посредством имманентного ритма, содержанием которого служат моменты понятия, выступает для субъекта единственной истинной метрикой пространства мысли. Пребывание в этом пространстве – считает Кожев, – ста-

вит перед субъектом задачу «...быть идеально гладким и бесконечно протяженным зеркалом...» [64, С.561], отражающим исключительно параметры этого пространства, т.е. не быть субъектом.

Идея «смерти субъекта» в философии Гегеля служит результатом интерпретации им множественности и различия как формальных аспектов всякого процесса. Динамическое единство понятия, воспроизводящееся в круговороте его актуальных моментов, выступает как вид мировой гармонии, которая нивелирует всякое формальное различие. Из этого вытекает, что формальны не интеграции различающихся во множестве своем эмпирических данных, но сами наблюдаемые различия данных. В таком случае, заключает Гегель, «многообразная игра форм», наблюдаемая в природе или в истории, вызывает только скуку, поскольку она, взятая в чистом виде, бессодержательна, и не порождает ничего нового. В то же время движение духа в имманентном ему ритме вне зависимости от избираемых им форм (или точнее вне зависимости от форм, которые фиксирует рефлексия в проявлениях духа) демонстрирует совершенно иной вид изменений. «Лишь в изменениях, совершающихся в духовной сфере, появляется новое» [37, С.103], – говорит Гегель, – и поэтому ход всемирной истории в его понимании есть ход развития содержательного принципа [там же, С.105]. Подобно тому, как субъект должен не быть субъектом, чтобы «через него» мыслила реальность, так и история должна перестать быть бесконечным многообразием, чтобы сквозь нее наблюдалось шествие духа. «Смерть субъекта» в философии Гегеля становится началом и неизменным условием его свободы; «конец истории» – началом и неизменным условием всего хода всемирной истории, т.е. процесса «...развития самоосуществляющейся идеи, а именно идеи свободы...» [там же, С.455].

«Самоосуществление», происходящее наиболее наглядно именно в человеческой истории, требует адекватности действующих сил и участников действия, но не нуждается в человеке. Гегель спорит с Шеллингом, которого привлекает «...игра свободы, ход которой и есть история...» [140,

С.451], настаивая на несвободе человека от динамики идеи свободы. Это значит, что процесс развертывания духа, носящий абсолютный характер, требует для себя человека как идеального агента. В таком случае история претендует на статус науки, которая ведет к пониманию исторического времени как времени человеческого при условии устранения самой человеческой индивидуальности. В перспективе такой претензии, говорит Ф. Ницше, «история понимается как чистая наука и, ставшая самодержавной, представляет собой для человечества род окончательного расчета с жизнью» [91, С.168]. Поскольку историческое время имеет известную диалектическую структуру, слияние исторического и человеческого времени снимает проблему пассивного «ужаса перед историей», предрекая конец последней в качестве гарантированного будущего. Гегель постулирует ритм исторического бытия, задавая схему движения и систему времен. В выстраиваемой им смысловой иерархии, считает Кожев, историческое время существует как «...подчиненное ритму: Будущее – Прошедшее – Настоящее...» [64, С.462], т.е. оно выступает как время, где главенствует будущее, и которое «...проходя через Прошлое, детерминирует Настоящее» [там же, С.464].

Своеобразный исторический оптимизм Гегеля, суть которого сводится к утверждению, что все исторически действительное разумно, логически организовано и потому неизбежно познаваемо позитивным образом, встречает критику со стороны пессимизма А. Шопенгауэра. Усугубляя кантовский тезис о нерациональности исторического познания, Шопенгауэр отказывает истории в праве называться наукой, относя ее к определенной *форме* знания, и трактуя историческую действительность как легитимный результат социально обусловленной конвенции. Шопенгауэр настаивает на том, что невозможна прозрачная проекция истины на план исторического бытия. На протяжении всей человеческой истории происходило введение истины в сферу ее практического применения в мифической оболочке; для этого «...истина должна всегда облекаться покровом леген-

ды и к тому же всегда стремиться соединиться с историческими данными, уже известными и признанными» [146, С.612]. Тем самым Шопенгауэр убежден, что истина не *содержится* в исторической действительности, но *касается* ее и имеет с ней общую границу в форме своего выражения. Истина и историческая действительность однородны только по форме и, следовательно, дисциплина, которая занимается выяснением истины в отношении исторической действительности, т.е. исследующая специфику их формального сопряжения, неизбежно есть некая форма знания о формах, содержащих истину.

Значение и последствия затронутого Шопенгауэром вопроса об исторических формах истины в полной мере прослеживаются в ходе критики гегелевской философии истории, предпринятой и Ницше, и Марксом. Сквозь призму системы Гегеля приходится говорить не о познании исторических форм, но о познании содержательных моментов, субстанциальная непрерывность и погруженность в среду духа которых игнорирует феноменальные формы как иллюзорные, заслоняющие и искажающие суть исторического процесса как процесса универсального и диалектического. Однако такое познание, – резонно замечает Ницше – «...убивает действие, для действия необходимо покрывало иллюзии...» [93, С.82]. Другими словами человек, сталкиваясь с историческими формами истины, которые – в терминах метафизики истории – иллюзорны, ошибочны, нарушают логику и вуалируют закономерные моменты хода истории, получает основание для действия, которое способно изменять эти формы. Очевидно, что альтернатива гегелевской системе формируется вокруг констатации положения о значимости не только идеальных форм «шествия духа», но и практически осуществляемых исторических форм истины, зависящих от человеческих действий, которые не обязаны совпадать с теорией, т.е. являться, по сути, воспроизводством универсальных форм «естественного» движения. Как отмечает А. Мамалуй, отличительной чертой марксизма стало то положение вещей, когда в состав знания включаются «...«заблуждения»,

точнее историческая форма истины...», когда всякая новая форма истины «...формируется через посредство прерывания постепенности, «отступления», «сбоя», «разрыва», «ошибки»...» [80, С.24]. Аналогично, Д. Робертс (Roberts) считает одной из заслуг Ницше обращение внимания на те «...специфические ошибки и фантазии, которые произвели наш мир, ... с которым мы имеем дело» и обусловили специфичность нас самих [196, Р.64].

Теоретически утвержденная Гегелем базовая логика любого действительного движения означала тотальный охват любого процесса основополагающим принципом, что подводило феноменальную полиритмию истории под предельную форму логического единства. Однако уже Шеллинг высказал сомнение в продуктивных возможностях логики, заключив, что «в логике нет ничего, изменяющего мир» [140, С.34]. В системе Гегеля наблюдаемые конкретные различия заведомо обречены на упорядочивание в форме регулярного повторения, минимальный ритмический модуль которого представлял собой цикл, составленный той же самой триадой. Это означало низведение ритмических особенностей до предела единства: схематическую редукцию любого эмпирического ритма до трансцендентального метра, где роль последнего выполняет единый ритм Бытия. Однако, как заметит позже Г. Риккерт, любая система заботится о ритме идеального и требует подчинить ему мышление философа, в то время как последнее скорее «...должно приноравливаться к ритмике и динамике никогда не покоящейся жизни» [108, С.285].

Атака на гегелевскую систему, предпринятая К. Марксом, в значительной степени была обусловлена «уничтожением субъекта», вытекающим из панлогизма, торжество которого лишь доказывает зависимость человека от мира. В «Феноменологии духа» – пишет Маркс – человека по существу нет, «...человек выступает в ней только в виде духа...» [83, С.158]; нет человека живого и живущего: нет ритма его рождения и смерти, труда и отдыха, вдоха и выдоха. Человек Гегеля как момент духа под-

чинен ритму исторического бытия, в котором он имитирует деятельность, но, по сути, не реально действует, а некоторым образом поступает, т.е. выполняет свое предназначение. В то же время, исторический процесс не детерминирован фатально: «человек лишь потому имеет историю, что его поступки не могут быть заранее определены какой-либо теорией» [140, С.453] – отмечает Шеллинг, – а это приводит к необходимости согласования свободы человеческих действий – и действия исторических законов.

Маркс не отказывает истории ни в ее исключительном научном статусе («мы знаем только одну действительную науку – науку истории» [82, С.29] – заявляет он в «Немецкой идеологии»), ни в ее телеологической цельности. В этом он следует Гегелю вплоть до того пункта, где решается вопрос о природе движения и уровне детерминации исторических форм этого движения. Его не удовлетворяет идеальная диспозиция, демонстрирующая в своей статике эффект движения: реальное движение, будучи до предела опосредованным, подменяется движением логическим. Кроме того, Маркс критикует безликость исторических повторений, вытекающую из логики движения, и противопоставляет ей характерность повторяющегося, служащую залогом появления нового не только в области духа, но и в конкретных формах. По мнению Ж. Делеза, Маркс исподволь восстает против того, что в гегелевской системе происходит «подмена игры различий» выверенной диалектической схемой, т.е. установление статической формулы абстрактного движения.

Следует согласиться с тем, что ритму исторического бытия присущи основные параметры всякого ритма вообще. Эти параметры суть наличие ряда последовательно расположенных во времени повторяющихся элементов или моментов, каждый из которых отличен от смежного. Согласно Гегелю повторяемость заключена в триаде – трех моментах, повторяющихся на разный лад, но, несмотря на феноменальные различия между собой, воспроизводящиеся в каждом повторении. Появление чего-то нового выражается через иллюзию различия, за которой стоит повторение того же

момента. Вся история при таком взгляде – принцип логического повторения под сенью «простого противоречия». Как говорит Л. Альтюссер гегелевская философия истории – это одно и то же блюдо в меню духа, «...приукрашенная гарниром однородных «диалектических» мутаций» [161, Р.102].

Маркс полагает, что всякое наблюдаемое противоречие является не отклонением от предначертанного пути, но производством нового путем неоднозначного, конфликтного и заранее не предрешенного «сложного противоречия». И Гегель, и Маркс спекулятивным образом преследуют «поэтику истории», однако они расходятся в вопросе ее метрики. Для Гегеля – по аналогии с классическими поэтическими образцами – ритм истории есть способ выражения идеальной метрики, подчинение матрице которой не только калейдоскопа феноменальных различий, но и мыслительной деятельности, есть залог соблюдения размеренной правильности, т.е. абсолютной истинности. Для Маркса – по аналогии с образцами неклассической поэзии – ритм истории есть параметризация средой исторических законов результирующей ритмов человеческой деятельности, которая есть залог практической правильности, т.е. исторической истинности. Согласно Гегелю человек имеет историю постольку, поскольку он подчинен воспроизводству духа определенным образом – в форме истории. Согласно Марксу «люди имеют историю потому, что они должны *производить* свою жизнь, и притом *определенным* образом» [82, С.29], т.е. – в форме истории. Для Гегеля история – это ход исторического времени, который как ход времени, относящегося к эмпирическому человеческому бытию, демонстрирует ритм воспроизводства абсолютного бытия духа. Для Маркса история – это ход исторического времени, которое действительно только потому, что оно демонстрирует ритм производства эмпирического бытия человека.

Критика спекулятивной философии истории была инициирована очевидными несообразностями замкнутой циклической схемы. Принцип



развития идеи свободы, исключавший право на ошибку и иллюзию, – т.е. право на реальное действие – оборачивался зависимостью от «ухищрений духа». Образно говоря, твердый ритм бытия, подчиняющий себе и уравнивающий все многообразие исторических форм, обрекал любой свободный ритм деятельности на рецессию. Попытка Маркса высвободить ритм жизни была, как считает Делез, попыткой противопоставить театр повторения – гегелевскому театру воспроизведения, что следует понимать как противопоставление движения – понятию и представлению [49, С.23-24]. Используя такую метафору, Делез имеет в виду «театр репрезентации», истинное движение, контрастирующее со спекулятивными последовательностями. «Театр – это реальное движение...» [там же] – определяет Делез, – но утверждает, что самому Марксу, затронувшему проблему движения, удалось лишь наметить «театральную» идею истории. Эта идея не исключила представления, согласно которому всякая историческая форма есть некоторое выражение состояния определенного движения. Очевидно *стоящая* за движением структура, положенная Марксом в основу истории, обеспечивала метрическую общность социальных ритмов, исключая видимую хаотичность последних целенаправленностью того процесса, которому они принадлежат.

Альтернатива метафизике истории положила начало легитимации презумпции заблуждения, утверждая, что историей становятся не «правильные ходы», а ошибки и иллюзии. Право на историю мог получить только тот, кто имел право на действие, а следовательно, на право утверждения исторической истины не тождественной истине абсолютной. Это означало отказ от воспроизводства размеренного бытия в ритмах социальной действительности, а значит, – отказ от попыток свидетельствовать изометрию всех видов бытия через подчинение дискурсивного мышления – метрике чистой мысли. Это означало высвобождение мышления из-под власти идеи свободы.

Несвобода мысли очевидна в случае, когда действие доказательства и утверждения сталкивается с тем уже заранее определенным, что *должно* явиться результатом всякого мышления. Заведомое долженствование мышления – чистому мышлению Ницше ставит в один ряд с любыми проявлениями насилия, в силу которых «...развилось все, что существует или существовало на земле в виде свободы... все равно – в области ли самого мышления, или правления государством, или произнесения речей...» [92, С.308]. Поскольку для реального действия субъекту необходим выход из-под власти чистой мысли, говорящей через него чистым языком соразмерных понятий, Ницше ищет то, что может нарушить эту идеальную чистоту и тем самым – по контрасту – оттенить, подчеркнуть и переоценить ее. Он ищет нечто по форме однородное с тем, что олицетворяет силу метафизического диктата, для того, чтобы по существу организовать сопротивление этой силе. Ницше осмысляет данное как заданное в качестве должного – канон живописи, фигуру мышления, размерность повествования, порядок познания – и потому уверен в том, что «нивелирующий образ мыслей» [там же, С.319] задается насильно. Но насилие играет двойную роль, – «...стоит только вспомнить о том гнете, под влиянием которого до сих пор всякий язык достигал силы и свободы, – о метрическом гнете, о тирании рифмы и ритма» [там же, С.308]. То, посредством чего навязывается абсолютная форма, есть и то средство философского выражения, которое освобождает от этой формы. Гегель, преследуя логику философского служения, постулирует единый ритм реальности как форму существования чистой мысли, подчиняющей себе и ритмы исторических форм, и ритмы дискурсов. Ницше, озабоченный эстетикой философского существования, парирует: «Ритм накладывает туманное покрывало на реальность; он побуждает к некоторой искусственности речи и нечистоте мышления...» [95, С.326]. Ритм жизни смутен, но именно он лежит в основании искусства жить, и делает отчетливым то, что возвышается над жизнью. При посредстве «нечистого» мышления реальный субъект перестает быть должником

идеального субъекта, историческая действительность перестает выступать в качестве ущербного Бытия, а человеческое существование перестает по-веряться вневременной «истиной без страсти» (Маркс). Ницше выдвигает на передний план ценность искусственных (субъективных и исподволь – исторических) форм, обладающих реальным бытием, которые могут быть расценены как иллюзорные в метафизической перспективе, но не могут быть нивелированы, поскольку выражаются имманентными средствами – своим строем, стилем и ритмом.

## **1.2. Рекогносцировка понятия ритма истории**

Выделение в качестве объектов исследования исторических форм, каждая из которых своеобразна и несводима к моментам универсального движения, приводит к переосмыслению динамических характеристик исторического бытия, которое, мыслимое в своем единстве, лежит в основании любой схемы всемирной истории. Концептуальные построения, ставшие ответом на гегелевскую философию истории, продемонстрировали ряд общих черт в вопросах, касающихся проблем исторических аналогий. Состыковка в каждом из них общих порядков исторических форм (периодизация истории) с особенностями становления и трансформации исторических объектов понуждала к решению философских проблем «общего и частного», «закономерного и случайного», «единства и множества» в терминах и пределах исторической теории. На примере идей К. Маркса, А. Тойнби и О. Шпенглера представляется возможным и необходимым проанализировать основные типы решения этих проблем, каждому из которых соответствует свой принцип сочетания ритма (хода) истории как целого и ритмов изменений, присущих историческим формам.

Маркс осуществляет критику «истории без событий» и развития, «...единственной движущей силой которого является, по-видимому, календарь и которое утомляет монотонным повторением одних и тех же состояний...» [81, С.142]. Это позволяет заключить, что он вплотную при-

близился к мысли о том, что, как говорит Делез, «нет фактов повторения в истории, но повторение – историческое условие, при котором действительно возникает нечто новое» [49, С.119]. Это повторение отсылает к человеческой деятельности, которая обладает своими ритмами и выступает как условие исторического действия, производящего полиритмию исторического бытия. В то же время Маркс полагает историческое бытие в целом подчиненным стадильному принципу исторического развития, который есть общая причина того, что «...люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается...» [81, С.119]. А это значит, что свободный ритм производства конкретных исторических форм встраивается в ритм *повторения* универсальных общественных состояний.

Концепция Шпенглера, имеющая отчасти ницшеанские истоки, акцентировала внимание на ритме жизни исторических объектов как на специфическом показателе их трансформаций и отрицала подчинение истории как целостности каким-либо законам. Развивая положения Ницше о самостоятельном мышлении, Шпенглер утверждает, что именно такой «...акт мышления есть история...» [147, С.277], и именно он обуславливает стиль дифференцированных исторических объектов (локальных культур), т.е. их ритм или «пульс самоосуществления». Но именно идея «самоосуществления» послужила одной из причин того, что динамика каждого из выделенных Шпенглером исторических объектов подчиняется, в конце концов, одному и тому же ритму жизни. А следовательно, наблюдаемый в рамках концепции «... настоящий спектакль множества мощных культур...» [там же, С.151.] по сути превращается в спектакль *повторения* ритмической фигуры, выражающей детерминированный характер фаз развития всех культур.

Тойнби предлагает теологический проект Истории, законы которой отличны от ритмов Природы. Жизнь исторического объекта представляется ему бинарной структурой, реализующейся в ходе смены фазы роста фазой распада, причем «...распад цивилизации, как и рост ее, есть процесс

непрерывный и кумулятивный...», а одной из важнейших характеристик следует считать, то, что «...у этого процесса есть повторяющийся ритм...» [119, С.475]. Несмотря на то, что структура периодичности в фазах развития различна, Тойнби рассматривает движение роста как всякий раз новую постановку и новую интерпретацию «драмы Вызова-и-Ответа», а движение распада – как «...повторяющееся представление одной и той же пьесы...» [там же, С.476]. В результате Тойнби кладет в основание своей схемы мерное «...чередование статики и динамики в ритме Вселенной...» [там же, С.94], выражающееся через порядок символического *повторения* структурных ритмов истории.

По мнению Савельевой и Полетаева «...своего рода «прорыв» циклических концепций в историческую науку...», в ходе которого философы и историки «от событийной истории... сделали скачок к истории цивилизаций...» [113, С.306] был в значительной степени обусловлен достижениями естественных наук и экономическими исследованиями. Представление об истории как о действительности, образующейся интерференцией закономерного действия и случайного человеческого действия, способствовали появлению различных периодических моделей, в которых ритмические компоненты упорядочивались в циклах подобия и повторения. Тем самым, как отмечает Е. Маковецкий, действие ритма понимается и ограничивается в пределах времени; ритм зачастую негласно отождествляется с метром, в результате чего «...повторяемость становится господствующим принципом включения ритма во временные структуры» [79, С.5]. Также, Е. Трубина считает, что в русле историцизма задача историка состоит в том, чтобы создать в тексте «мимесис» исторической идеи [121]; это, в свою очередь означает, ритм понимается исключительно как миметический носитель.

Подобная техника конструирования динамики исторического бытия, опирающаяся на механизмы периодического возврата и принципы параллелизма, есть, по существу, техника и историческая, и поэтическая. При

поиске историками эмпирических соответствий между настоящим и прошлым, призванных продемонстрировать повторение качественных состояний, т.е. – по определению Делеза – «...повторение только по сходству или аналогии» [49, С.119], использовалось неоднозначное понятие ритмичности, распространяющееся на формы и природного, и исторического движения.

Можно сказать, что в циклических схемах всемирной истории мы наблюдаем практику онтологизации ритма, выступающего в трех ипостасях: 1) как показатель трансформации исторических объектов, 2) как принцип исторического процесса и выражение цельности исторического бытия, 3) как форма природных циклов. Ритм понимается как унифицированный «симметричный посредник», олицетворяющий какую-либо форму переноса и созидания одновременно, лежащий в основании всякого подобия по аналогии, всякого отличия по существу, всякого переноса по смыслу. Образно говоря, ритм всегда двулик, поскольку представляет собой голую структуру совмещения и согласования различного. Как утверждает Делез, ритм формируется как «...система отождествлений и повторений...» [46, С.429], обеспечивающая как единство объединения сходного, так и единство распределения противоположного. Примечательно, что таким же образом функциональную особенность ритма описывает и Платон, считая, что ритм «...создается согласованием расходящихся сначала замедлений и ускорений...» [101, С.96], чем почти дословно повторяет мысль Гераклита о гармонии как о состоянии, в котором «расходящееся согласуется с собой» (B51, Diels).

### **1.2.1. Ретроспективный анализ онтологического термина *rithmos***

Очевидное сходство циклических концепций первой половины XX века с классическими греческими образцами не вызывает удивления, если учитывать особенности как времени их появления, так и мировоззрения их автором. В. Макнил (McNeil), прослеживая траекторию европейской тра-

диции переосмысления античной и усовершенствования библейской системы истории, приходит к выводу о том, что поиск реального ритма бытия непременно отсылал историков и философов к древнему наследию. С его точки зрения и Шпенглер, и Тойнби «...вполне осознанно... воспользовались своим классическим образованием, чтобы переутвердить циклическое воззрение на человеческие дела, выдвинутое Платоном и тщательно разработанное другими философами античности вплоть до стоиков...» [78, С.21].

Понимание ритма в контексте древнегреческой философии, образует среду понятий, в которой ритмичность подразумевает определенную онтологическую размеренность: посредством ритма (и гармонии) выражается справедливость. При общем определении ритма как «порядка движения», Платон, по свидетельству А. Лосева, «...различал метры как способы того или иного распределения долгот и краткостей... и ритмы как способы того или иного исполнения, а следовательно, той или иной темпоральной модификации исходного костяка метрической системы» [75, С.136]. Очевидно, платоновские идеи можно понимать как метрическую систему, и всякую идею – как обладающую метрикой. Согласно Лосеву идея у Платона есть «...отчетливая структура вещи...» [там же, С.262], а значит, порождение вещей в соответствии с идеями должно, состоять в сообщении вещи пропорций (*arithmos*), заключающихся в идее, и облика (*schemata*), являющегося схематическим наброском идеи. В таком случае, необходима инстанция, обеспечивающая сообщение между идеями и вещами по «закону чисел» (*cat'arithmon*) для достижения их правильного соотношения, соразмерности (*simmetria*). Функцию этой инстанции и выполняет ритм; вещи производятся согласно своей идеальной структуре, определенной метрикой идеи, которая сообщается вещам определенным *образом* или, как уверен Платон, через фигуру (*schemata*) в ритмах.

Необходимо заключить, что ритм у Платона понимается и как способ выражения, и как способ исполнения: ритмически выражается законо-

мерность, лежащая в основании мира, ритмически творится всякая вещь как исполнение меры, заложенной в идее. Тем самым логично предположить, что любой процесс создания или творения – *poiesis* – постулируется Платоном как ритмическое соответствие мере. Принимая в духе рассуждения Лосева определение термина *poiesis* как «...указывающего на переход от небытия к бытию...» [75, С.63], допустимо говорить о со-творении (мира), в котором наблюдается соучастие метра и ритма, «обменивающихся» взаимными определениями. Действительно, Платон утверждает, что ритм получен от бога через посредство Муз [102, С.450]. Это следует понимать как указание на инструментальный характер ритма: с одной стороны мерный мир идей посредством ритма производит тварный мир вещей, с другой – человек, соблюдая правильные ритмы, способен познать метрику мира идей. Платон подчеркивает принцип симметрии, присущий ритму; переходы от небытия к бытию и от бытия – к небытию (сверхбытию) эквивалентны в том смысле, что и в том, и в другом случае роль «средства сообщения» играет *rithmos* – метр, понимаемый как ритм или ритм, понимаемый как метр.

Выходит, что действующий на грани бытия *rithmos* не может быть определен однозначно как ритм, поскольку несет на себе неизгладимую печать метра. В то же время он является одной из причин закономерного различия вещей, каждая из которых соразмерна своей идее, обладает определенной формой и имеет свой облик, обусловленный ритмической схемой. Аристотель, рассматривая взгляды Демокрита и Левкиппа относительно различий, лежащих в основании различия вещей вообще [5, С.75], выделяет в числе прочих различие по очертанию (облику) как «принадлежность» определенной *schemata*. Это означает различие вещей по «строю» или «последовательности», т.е. соответствие всякого сущего определенной действующей метроритмической фигуре (*rithmos*). Э. Бенвенист, проведя анализ текста Аристотеля параллельно с этимологическими изысканиями, выдвинул предположение, что *rithmos* не означает просто ритм, но – в своем



первоначальном значении – входит в группу онтологических терминов наряду с *eidos* и *morphe* [167, Р.288].

Именно неоднозначность *rithmos*'a, играющего роль всеохватывающей закономерной ритмичности, обусловило кажущееся «смещение» (а, по сути, – неразрывность) понятий ритма и метра в древнегреческой философии. Согласно буквальной семантике, проглядывающей сквозь действовавшие принципы метрической поэзии, и ритм, и метр отсылали к универсальному животворящему порядку *rithmos*'a. При этом ритм понимался как творящая сила, неотделимая от метра, как своего рода «выразительный метр». «Чистый» же метр вне связи со своим ритмическим выражением представлял собой нечто предельно идеальное, а, значит, бесплодное. Этот аспект отличия метра от ритма как идеального от актуального имеет в виду и Ницше, когда упоминает тот факт, что «...метрическая речь носит идеальный характер...» [93, С.81]. Примечательно, что Аристотель начинает «Поэтику» с именованя и перечисления известных искусств, определяя их как подражание (*mimesies*). Все названные искусства, – полагает он, – «...совершают подражание, [пользуясь] ритмом, словом и гармонией...», в то время как искусство, «...которое пользуется только голыми словами или метрами... до сих пор остается без названия» [7, С.646].

Последняя мысль подводит нас к рассмотрению двух моментов: 1) вопроса отношений между метром, ритмом и процессом именованя (вещей); и 2) вопроса воспроизводительных функций метроритма.

Логично предположить, что так как *rithmos* есть сила и функция связи вещного в его конкретных формах с идеальным в его истинной метрике, то он должен принимать непосредственное участие в процессе присвоения имен вещам. Но произнести имя вещи – то же самое, что и наречь ее; для этого невозможно воспользоваться идеальной речью, поскольку идеальная речь – это речь, которая не течет, которая стоит подобно метру. Метр не может произвести нареканье, поскольку нет нареканий и к нему: он есть непререкаемый образец (*eidos*), динамическое выражение которого (*rith-*

mos) определяет всякую вещь по ее идее и в единстве ее воплощенной формы (morphé). В результате мы наблюдаем процесс, в ходе которого силой ритма метрика идеи воплощается в метрике вещи. Причем, как замечает Аристотель, важную роль в этом процессе имеет степень единства, напрямую связанная с гармонией и жизнеспособностью. В «Политике» он развивает мысль о том, что «... следует требовать относительного, а не абсолютного единства как семьи, так и государства...», потому что «если это единство зайдет слишком далеко, то и само государство будет уничтожено...» по той причине, что требование абсолютного единства – это «...все равно как если бы кто симфонию заменил унисоном или ритм одним тактом» [6, С.412].

Выводом из этой мысли может стать положение, согласно которому изменяющаяся вещь не обладает предельным единством и наоборот – вещь в своем предельном единстве становится идеальной. Последнее нелепо, потому как в этом случае вещь перестает быть вещью. Следовательно, свойством всякой вещи является единство, однако это единство относительно: оно всегда достаточно для констатации единичности вещи, но никогда – для ее полной определенности. Соответственно и всякое именование (и переименование) вещи характерно отвечает протекшему моменту, прошлому состоянию единства, т.е. представляет собой действие неидеальной (не метрической), человеческой, текущей речи. Т.о. проистекает ритмический процесс творения и именования – «...именование в дискурсе о вещах...», в ходе которого, как полагает А. Родин, «...всякая единичная вещь конституируется своим именем и не существует как таковая без своего имени» [109, С.127]. В то же время, поскольку произнесение имен производится человеком (Адам нарек имена), весь процесс именования имеет особенности антропологического типа. На это указывает, в частности, К. Чухрукидзе, считая, что «...каждое звуко сочетание в качестве имени вещи уже представляет собой ритмическую конфигурацию...», которая «...является чем-то неминуемо сбывшемся» [139, С.29]. Из вышесказанно-

го можно сделать вывод о том, что именование происходит *post factum*, маркируя прошлое состояние вещи. Другими словами, в качестве поименованной вещи мы располагаем ритмической конфигурацией ее прошлого.

Впрочем, если принять во внимание утверждение Платона о том, что имя – это подражание вещи [100, С.669 ], то вопросы именования, связанные с конститутивной функцией ритма, возвращают нас к более общей проблеме ритма как подражания, т.е. к выяснению его миметической функции. Подражание подразумевает наличие способов (в данном случае ими выступают искусства) и того, чему – благодаря этим способам – происходит эмуляция. В приведенном выше фрагменте Аристотель косвенным образом указывает на наличие некоего метрического оригинала, который представляет собой истинную нетварную размерность, обуславливающую мировую закономерность, которой, собственно, и подражает творимое. Это можно понять и как определение статуса прозы («голых слов»), которая, не будучи хаотическим смещением звуков, но имеющая размеренность, остается ритмичной, но не подчиняется строгому метру. Аристотель замечает, что с точки зрения поэтики проза представляет собой предварительное упорядоченное состояние материала, свободная ритмика которого есть чистое выражение без выражаемого (метра). Т.е. проза – чтобы остаться прозой – «...должна обладать ритмом, но не метром, так как в последнем случае получатся стихи» [8, С.182].

Позицию Аристотеля отнюдь не следует понимать в качестве попытки разделить метр и ритм. Напротив, он убежден в том, что *rithmos* объемлет творение в целом, что любая размерность, метрика, счет и упорядоченность насквозь ритмичны и эта погруженность мира в среду ритмов есть закон природы. По природе человеку свойственно подражание «...[не менее], чем гармония и ритм...» и, поскольку ритм и непосредственно воспринимается, и непосредственно создается, Аристотель подытоживает: «...что метры – это частные случаи ритмов, видно всякому...» [7, С.649].

В среде *rithmos*'а не может существовать и разделения искусств, которые пользуются ритмом или, точнее, видов действий, которым предшествует ритмичность. Всякий язык ритмичен – язык тела (танец), язык звука (музыка), язык речи (проза, поэзия) – и с точки зрения своей гармоничности эти языки эквивалентны в качестве разноречивых вариаций *rithmos*'а. Ритм подразумевается во всех случаях, когда мы говорим о «музыке за словами» (Ницше), «музыке небесных сфер» (Пифагор) или о прозе, которая по отношению к поэзии свободна, но «безыскусна», а «ритм прозы есть ни что иное как черновик ритма» (Верье). Проводя аналогии между музыкой и литературой, М. Харлап трактует ритмическую свободу как независимость от строгого темпа (без отрицания метрики) и как отсутствие размера. При этом он утверждает, что свободный ритм «...относится к размеренной музыке как прозаическая речь к стиховой...» [133, С.52].

На основании дефиниций, даваемых Аристотелем прозе и поэзии, а также аналогий между музыкой и речью, мы можем заключить, что именно «взаимоотношения» с ритмом позволяют квалифицировать определенным образом то или иное произведение искусства. Так, например, в числе явных формальных признаков текста, наличие которых задаёт его восприятие как стихотворного, А. Чех называет «...нулевой уровень организации стиха...», который «...будет включать в себя *размер* или, более общо, *ритм*...» [138]. Тем самым подразумеваются две, в общем-то, известные, вещи: 1) поэтическая структура всякого текста имеет несколько уровней; 2) условием построения поэтической структуры является наличие в ее основании размерности в ритмическом выражении. К тому же «нулевому уровню» автор относит и спорадические элементы ритма, в числе которых указывает анафору, эпифору, аналогию и др. Следовательно, базовый уровень поэтической структуры мы можем определить как плоскость сугубо формальных метроритмических соотношений, бессодержательную размеренность чистого пространства стиха. Р. Барт, относя ритм к формальным признакам литературности, констатирует, что техника классической по-

эзии заключалась в создании аналога «... некоей виртуальной прозы, которая, как сущность и как потенциальная сила, лежит в глубине любого способа словесного выражения» [15, С.348]. Т.е. различие прозы и поэзии трактовалось как количественное: поэзия производилась путем добавления к прозе, понимаемой как наиболее лаконичная и строгая форма дискурса, языковых атрибутов (метра, рифмы и т.д.). Однако это наводит на мысль, что ритм самой прозы, позволяющий на нулевом уровне творение по аналогии, при всей своей пустоте и кажущемся схематизме, выступает не декоративным элементом, а креативной силой. Это демонстрируется, в частности, неклассической поэзией, которая претендует на право использования до-понятийного языка, в качестве которого выступает «ритмически-музыкальное волнение» (Крученых) или «основной гул-ритм» (Маяковский).

Однако, несмотря на то, что ритм наряду с чувством меры, контрастом, гармонией и композицией есть эстетический принцип и принадлежит к законам искусства, определение ритма как *категории* сопряжено с большими затруднениями. Ритм непременно понимается как смысловнесущая и информативная структура, т.е. он не только организует сообщение различных измерений, но и является сообщением, переносящим единицы информации на непонятийном языке. Для такого (эстетического) сообщения, подчеркивает У. Эко, можно выделить несколько взаимосвязанных уровней. Начальными выступают уровень физических носителей и уровень дифференциальных элементов; к последним относятся «... фонемы, уподобления, расподобления, ритмы, метр, позиционные отношения, язык топологии и т.д...» [150, С.82]. Значит ли это, что ритм необходимо сопряжен с материалом? Отнюдь нет, – ритм как размерность представим как в связи с тем материалом, который он формует, так и без него. Материал становится содержанием формы, набрасываемой ритмом, и ритм в качестве формы «...контрапунктически спорит с «содержанием», дает ему противовес» [1, С.205]. С одной стороны, ритму необходим носитель, с другой

– ритм может быть обозначен числовым выражением, формулой, пропорцией.

Ритм может проявляться как динамика статической композиции (например, повторение модулей в архитектуре или фигуры в орнаменте), равно как и статический компонент в динамической системе (например, рифма в стихе или несущая частота в модуляции). Неоднозначность «природы» ритма, заключающаяся в том, что он представляет и динамику выражения, и статику размерности вызывают, зачастую, необходимость определять его парадоксально. В этом смысле весьма показательным определением, которое дает Лосев, ориентируясь, прежде всего, на ритм в музыке. «*Ритм* есть единичность подвижного покоя самотождественного различия, данная как подвижный покой... *ритм* есть выражение чистого числа в аспекте его чисто числового же подвижного покоя... Он есть... *числовая структура* времени (в нашем понимании числа), данная в аспекте своего подвижного покоя» [76, С.336].

Принципиально то, что Платон (вслед за Эмпедоклом и Гераклитом) помещает «расхождение» в начало как данное; это следует понимать как различие чистых чисел, т.е. идей, множество которых делает возможным множество различных вещей. Чистые числа определяют принцип меры, которому подчинен и феноменальный мир. Именно мера (идеальная метрика) сообщается миру и обуславливает подверженность феноменов измерению; или, другими словами, идеальные числа служат залогом исчисления феноменов, т.е. позволяет их количественно категоризировать. Примечательно, что Аристотель относит к категории количества (*arithmos*) число, время и слово [4, с.62], причем определяет их как количества, состоящие из частей (*meros*), не имеющих определенного положения. При этом он оговаривает, что в потоке речи слово измеряется длинным и кратким слогом (т.е. минимальным ритмическим модулем), а время непрерывно течет чередой (*tī mlrei*) моментов, соблюдающих порядок. Тогда, с учетом вышеназванных определений Аристотеля и данного Лосевым определения

ритма как числовой структуры времени, можно заключить, что понятие ритма (*rithmos*) предшествует категории количества (*arithmos*). Всякое количество непостоянно, текуче; оно также подразумевает динамическую оппозицию «больше – меньше», что вкупе выдает стоящую за ним ритмичность как «подвижную определенность». Именно ее текучесть, выражающаяся и в течении речи, и в протекании времени, позволяет, как мы считаем, делать Дж. Уитроу вывод о том, что «...фундаментальным как для времени, так и для речи, является ритм» [126, С.73].

Согласно сквозному для всей древнегреческой философии мировоззрению, *rithmos* понимается, в самом общем смысле, как определенный порядок движения; естественным образом такое понимание распространяется в равной степени на движение тела, звука, времени, речи, небесных объектов или событий. Это же представление лежит в основе характеристики форм человеческой деятельности, руководствующейся ритмичностью, т.е. мусических действий. Как действия одного рода, направленные на духовное образование, культурное совершенство, приумножение умений и занятие искусствами, они объединялись под общим понятием *mousikē*, синтезирующим в единстве язык, стих, ритм, мелос, танец и т.п. Как утверждает в связи с этим Ю. Холопов, «первоначально мусикия – не «стихи», не пение, а ритм, или точнее, фиксированный ритм тела как языковое изваяние божественной (мусической) речи» [136]. Произшедшее впоследствии разделение мусических форм на поэтическую и музыкальную ветви не исчерпывает перечня дисциплин, которые в своем основании неявным образом отсылают к ритмическому движению.

Мыслимый греками ритмический универсум есть онтологическая декада; она предполагает девять модусов выражения и познания – по каноническому числу муз – скрепленных средой *ritmos*'а. Ритмичность объемлет все формы творения (природы и искусства) – от космогонической до исторической, и все языки (как виды движения) – от идеального до вещного. Образно говоря, для Платона, Гераклита, Пифагора или Аристотеля

привычное для нас «В начале было Слово...» имеет вид «В начале (t\#rc/) был ритм (r\qtm3~), и ритм этот был у бога...» (Холопов).

### 1.2.2. Идеальная ритмика античной философии истории

Сделав подобный вывод, мы будем вынуждены констатировать, что и история – как один из видов мусической деятельности, т.е. один из способов подражания жизни – должна подчиняться твердому божественному ритму. В таком случае «историческая ритмика», равно как «музыкальная ритмика» или «поэтическая ритмика» лишена какой-либо специфики, выражая лишь определенным способом неизменный онтологический порядок. Поскольку античная философия истории опирается на циклическую концепцию, в основании истории полагается универсальное и идеальное круговое движение, акцентирующее череду повторяющихся состояний. Подчеркивая довлеющую роль онтологической ритмичности, Лосев утверждает, что в представлении античных мыслителей «... все индивидуальное, все личное и вообще все оформленное, то созидаясь, то разрушаясь, вечно возвращается к самому себе и от этого своего вечном круговращения оно ровно ничего не получает нового» [74, С.21]. Одним словом, Лосев считает, что в данном случае перед нами разворачивается картина вечного возвращения в наиболее очевидном виде, согласно которой для древнегреческой мысли в любом случае «...именно природа будет моделью для истории, а не история – моделью для природы» [там же].

С подобной точкой зрения, сводящейся к противопоставлению исторического времени – циклическому, и упрощающей концепцию вечного возвращения выражает свое несогласие Делез. По его мнению, в вечное возвращение, «работающее» как всеобщность, закон природы, наши предшественники верили «...лишь приблизительно и отчасти...», поскольку «это было не вечное возвращение, но частные циклы, циклы подобия» [49, С.295]. Продолжением мысли Делеза должно, по всей видимости, стать указание на тот факт, что *вечное* возвращение не подразумевает никаких



хронологических рамок, в то время как всякий цикл хронологически определен. Цикл всегда подразумевает некоторое замкнутое под эгидой единства множество своих моментов или, другими словами, круг настоящих времен, в котором «прошлое» и «будущее» есть лишь «предыдущее» и «последующее» по отношению к текущему настоящему.

Действительно, Платон настаивает на том, что следует «...прилагать имена ритма и меры...» ко всяким состояниям движения и «...рассматривать таким же образом всякое вообще единство и множество...» [103, С.14]. Цель такого требования вполне ясна: всякое множество отдельных вещей, не будучи определенным, т.е. лишенное числа, бессмысленно. Следовательно, в создании всякого множества (будь то множество звуков, букв или фактов истории) искусственным образом необходимо подражать тому, что заведомо правильно. Правильным и «подобающим» считается размеренный ритм бытия, и всякое творение должно руководствоваться мерой, чтобы быть соразмерно этому ритму. Но Платон вынужден признать, что подражание, – поскольку оно производится человеком – несовершенно. Оно всегда подразумевает отклонение от ритмического образца, приводящее к тому, что искомая «единообразная стройность» не достигается. С точки зрения Платона положения вещей, в которых мера «...сколько-нибудь отстает от действительности...» [99, С.285], свидетельствуют о том, что истинная мера нарушена и наблюдается своего рода «упадок» или «ухудшение», – повышение степени нескладности, неритмичности и нечеткости движения. Безусловно, любая качественная характеристика, даваемая фрагменту настоящего, условна и относительна: всякий подобный фрагмент заведомо есть часть Хроноса как полного настоящего, представляющего собой, по словам Делеза, «полный цикл», который «...заполняется положениями вещей и движениями тел, которым он дает меру» [46, С.93-94]. Именно на «покрывающем» характере циклического настоящего, гарантирующего отсутствие беспричинности и беспорядка в каждом настоящем моменте, и зиждется, убежден Ницше, «... та

несокрушимая вера, что мышление, руководимое законом причинности,... не только может познать бытие, но даже и *исправить* его» [93, С.114].

Впрочем, вера не может исключить того факта, что всякое нарушение идеальной меры, наблюдаемое на *отрезке* настоящего, есть, по сути, частный ритм, отличный от (гипотетического) ритма всеобщности. В обозримом настоящем, включающем в себя текущее настоящее и настоящее как «в меру прошлое», концепция Платона вынуждена против своей воли констатировать сосуществование различных «неправильных», т.е. исторических форм. Как отмечает Р. Арон, платонизм не в силах закрыть глаза на «...расхождения между идеей и реальным...» как минимум потому, что «...никакой античный полис не провел в жизнь в чистом виде определения «полиса гоппитов» [10, С.157]. Более того, античное мышление, оперирующее спектром антиномий, сводящимся к противопоставлению «правильное – неправильное» (что синонимично «ритмичному» – «неритмичному») лежало в основании греко-варварского антагонизма и обуславливало вывод о том, что варвар – это тот, кто не владеет логосом. Но из факта существования варварских обществ вытекало, что возможны реальные формы, которые опираются не на законосообразную мерность логоса, а на свой «незаконный», «неправильный» ритм.

В таком случае становится очевидным, что традиция, отталкивающаяся от Единого (Парменид) и неподвижных идей (Платон), вынуждена признать реальное различие мер. Причем речь в этом случае идет не только о различии божественной и человеческой меры, признаваемом Платоном, но и о фактическом «хаосе», царящем во множестве человеческих мер, проявляющихся в формах эмпирического бытия. Всякий отрезок времени, «изъятый» из полного цикла, есть некоторая *линейная* последовательность временных форм, демонстрирующая собственный ритм изменений, не повторяющий идеальный *круговой* ритм универсума. Деятельность людей, не владеющих логосом или владеющих им не в должной мере, производит определенные формы человеческих общностей или творений му-

сической деятельности, которые наблюдаются в текущем настоящем. В этом случае какое-либо «исправление» неистинного ритма, формирующегося в пределах линейной последовательности, становится возможным только за счет максимального расширения границ настоящего, т.е. за счет геометрической процедуры, благодаря которой бесконечное удлинение линии превращает ее в круг.

Такая процедура имеет в своем основании отсутствие – в современном смысле – понятия «прошлого». Как показывают Савельева и Полетаев, анализируя античную историографию, последняя не ставила акцента на «самостоятельном» прошлом и на познании такого прошлого. Античной философии не была свойственна «...осознанная ориентация на прошлое, отделенное от настоящего...»; она оперировала «прошлым настоящим» как мифами, историями настоящего и потому «...прошлое присутствовало в них лишь потому, что любое событие к моменту рассказа о нем уже становилось прошлым» [112, С.32]. Именно в среде таких представлений Платон использует право полагать как должное ритмическую симметрию между идеальным и эмпирическим бытием, пытаясь исключить из всякого процесса творения саму возможность творения мифа. Ритм логоса, выступающий в качестве универсальной ритмической структуры космоса, «исправляющей» в конце концов (т.е. в полном цикле) любую форму человеческой деятельности, «...понуждает нас» – по словам Ницше – «подмечать внешние аналогии между каким-либо событием в жизни и природе и известными ритмическими фигурами...» [93, С.124]. Другими словами: нивелировать в пределе любое не циркулярное движение – идеальным круговым движением.

Что мы можем констатировать в этом случае? То, что уже в платоновской системе наблюдается нестыковка между должной и очевидной формой движения, и власть Единого может удерживаться лишь за счет идеализации движения при условии игнорирования его эмпирических форм. Факты действительности свидетельствуют об эффекте полиритмии,

фиксируемом на множестве взятых *в отдельности* участков всеобщего природного вечного возвращения. Кожев формулирует эту ситуацию следующим образом: «Платон забыл, что в Гераклитовом потоке есть постоянные водовороты...» [64, С.435]. Даже рассматривая полный цикл Хроноса как замкнутую траекторию настоящего, приходится признать, что ритмы ее отрезков способны деформировать идеальный круг, играя роль источников эксцентриситета или превращая его в ломаный контур. Говоря языком категорий Аристотеля, поскольку «...из всех линий больше всего едина окружность...», то она – как «...линия целая и совершенная» – подчиняет себе любое количество несовершенных линий в качестве своих частей и – как «...первая мера всякого рода...» – налагается на любое количество частных мер [5, С.154-155]. А это значит, что бесконечное, в принципе, множество несовершенных линейных движений, различающихся между собой своими ритмами, Аристотель относит к единому роду движения – круговому движению, а их ритмические особенности – к единому роду размеренного метроритма Логоса.

Возникает резонный вопрос: применение какого критерия дает возможность Аристотелю установить однородность всех разновидностей движения? Ведь несовершенные виды движения не затухают и не исчезают в движении Единого; их количество не редуцируется до нуля, а это значит, что различные формы, каждая из которых отлична от идеальной, вновь и вновь *возвращаются*.

Аристотель доказывает однородность движений, исходя из единого для них всех принципа непрерывности. Поскольку непрерывность присуща всякой линии и всякому движению, то «...единым, таким образом, называется непрерывное вообще...», причем «...непрерывное от природы едино в большей степени, нежели непрерывное через искусство» [там же, С.153]. Единство движения в понятии Аристотеля сопряжено с единством во времени, и роль «первой меры» (начала) играет настоящее время – в отношении прошлого как дальше отстоящего от настоящего. Говоря о степе-

нях единства, Аристотель опирается на свою концепцию времени, согласно которой, как убежден Кожев, «...Вечность существует не *вне* Времени, но *внутри* Времени...», из чего следует, что «по меньшей мере, во Времени есть вечное» [64, С.434]. Это значит, что в высшей степени своего единства как единства вечного настоящего само время есть тот вид вечного настоящего, в котором все движется кругообразно и все вечно возвращается на круги своя. Но во множестве меньших степеней единства настоящего времени, т.е. в прошлых временах, демонстрируются другие виды вечного настоящего, которым могут быть присущи другие виды движения, отличные от идеального кругового движения. Всякое прошлое выступает как вид настоящего, где вид есть показатель степени единства настоящего по критерию вечности. Прошлое как предшествующее находится на большем или меньшем отдалении от текущего настоящего, но – в понятии Аристотеля – оно обнаруживается неотделимо от настоящего, подчиняющего себе все возможные виды прошлого, и следовательно, заключает Кожев, в выходе наружу любых «водоворотов» прошлого «...обнаруживает себя единственная, одна и та же Вечность...» [там же, С.435].

Можно сказать, что Аристотель решает через понятие интенсивности проблемы «взаимоотношения» текущего и прошедшего настоящего и по-своему достраивает получившую развитие у Платона серию антиномий; в ней аналогичным образом сравниваются виды движения (совершенное круговое – несовершенное линейное), виды мер (первая – частные), виды ритмов (правильные – неправильные). Но при этом Аристотель оперирует категорией числа и показателем степени, что дает возможность не противопоставлять идеальные и реальные формы, но квалифицировать реальные формы по степени отличия от форм идеальных. Такая схема очередной раз утверждает однородность форм, но, допуская наличие двух полюсов у череды видов в пределах всякого рода, оставляет возможность для идеализации как одного, так и другого полюса.

Эту возможность использовали стоики, со времен Зенона утверждавшие, что и Земля, и люди имеют историю, и предложившие онтологию, которая в корне отличалась от предшествовавшей им антиисторической традиции. Предпринятая ими идеализация *прошлого* вкупе с отказом от концепций Единого Парменида, неизменных идей Платона и идеального настоящего Аристотеля принесла свои плоды в виде формирования концепции неидеального бытия. Как замечает А. Хазина, уже философия истории Посидония предстает «...единством в различии...», демонстрирующем «...множественность ступеней и форм единого исторического бытия» [132, С.230]. Это означает, что стоики, «переворачивая» аристотелевский вариант платоновской схемы, акцентировали внимание на том, в какой степени настоящее есть эффект прошлого. Отрицая понятие единства как однородной среды, они, по сути, «изобретают» две вещи, необходимые для полноценной философии истории: прошлое время и рукотворное бытие.

Результатом разработки этих концептов стало, как уверяет Делез, выявление в первом приближении собственно исторических форм бытия, движений и ритмов, не уподобляемых идеальным образцам. Анализируя идеи стоиков, Делез утверждает, что отказ от точки зрения Аристотеля, согласно которой «...равномерное круговое движение является мерой по преимуществу...» [9, С.158] означал отмену преимуществ идеального движения по сравнению с движениями реальными. Что делает очевидным тот факт, что в идеальном «природном» круговращении скрыто вечное возвращение «рукотворного», т.е. своего рода возвращение ошибочного. Появление на философской авансцене автономного прошлого времени, отличного от времени настоящего, соединяющего в себе все прошлые моменты, приводит к тому, что свое доминантное положение теряет мера как «...равномерное разделение времени, изохронное возвращение тождественных элементов» [49, С.36]. И, следовательно, понятие интенсивности обращается против позиции Аристотеля: встает правомерный вопрос о

том, в какой степени идеализируемое движение отстоит от наблюдаемых форм реального движения.

Насколько совершающееся настоящее может выступать в качестве эффекта действительного прошлого, настолько же и экстенсивная мера может выступать как «видимость и абстрактный эффект» интенсивных ритмов. Развивая эту мысль, Делез имеет в виду историческое время, «утопленное» в среде абстрактного времени, считая, что мера, присущая идеальному бытию – «...только упаковка ритма и соотношение ритмов...» [там же, С.36-37] бытия исторического. В таком случае получается, что размеренная ритмичность, полагаемая Платоном в качестве идеального начала и основания мировой гармонии, есть лишь абстрактная гомогенная среда, метрика которой подчеркивает специфику реальных жизненных ритмов. Платоновская онтология, построена на операциях с однородным временем вечного повторения космического ритма, которые дезавуируют неоднородное мифологическое время. В таком мировоззрении, имеющем, как считает Х. Франкфорт (Frankfort), общекультурные архаические черты, исторические события видятся «...поверхностными нарушениями установленного порядка или повторяющимися событиями никогда не изменяющегося значения» [183, С.76]. И следовательно, историческая ритмика в схеме платоновского типа оказывается растворенными в метроритме бытия подобно тому, как любые хаотические пульсации упорядочиваются в космической ритмичности.

Последствием же «переворота стоиков» следует считать предложение ими «оборотной» версии платонизма, в которой не извечный, но устанавливаемый и утверждаемый в настоящем порядок служит поверхностным эффектом произошедших в прошлом событий, т.е. событий – с точки зрения настоящего – исторических. Это значит, что ритмы этих событий не подвергаются диссипации в ритме Единого, а напротив, – космический ритм *становится* своего рода всеобъемлющим (не/над)историческим фоном, на котором контрастно выделяются исторические ритмы. Последние

же, как считает Делез, обусловлены тем, что «...интенсивные значения действуют, создавая неравенства, несоразмерности в метрически равных длительностях или пространствах» [49, С.36]. Это приводит к мысли о том, что в природной циркуляции вечного возвращения, под твердым ритмом *physis*'а, таится неустранимая полиритмия *poesies*'а, – «вечное возвращение различного». А значит, любая предполагаемая форма единства исторического бытия не оспаривает тот факт, что собственно историческая ритмика не однородна с природной цикличностью, т.е. исторические ритмы не принадлежат к роду естественных ритмов.

### **1.3. Историческая ритмика в терминах «множественности»**

В современной философской ситуации, по выражению М. Ямпольского, «...платоновская схема оказывается перевернутой, и идея предстает следствием явления...» [158]. Ориентация на дискредитацию и деконструкцию метафизических оппозиций, обеспечивает интерес к тому, что может выступить в роли своеобразной «оси», вокруг которой может происходить подобный переворот. Это значит: к тому, что по причине своей симметричности неуязвимо и универсально как механизм, который, подобно палиндрому, может работать одновременно в обоих направлениях. Впрочем, всякая «ось» есть не столько демаркационный элемент жесткой бинарной структуры, сколько инструмент. Как подвижная граница она играет роль «собирания» оппозитивных элементов и предлагает неограниченное, в принципе, число их единств. Квалификация единства оппозиций, отсылающая нас как к вышеупомянутым аспектам стоической философии, так и к идеям Делеза, интерпретирующего наследие стоиков, предлагается к пониманию Маковецким как «...не единство тождества, а, скорее, единство различия...», которое следует понимать как «...в полном смысле ритмическое единство» [79, С.6].

Использование определений такого рода в значительной мере поддерживается манерой мышления в максимально широком философско-



эстетическом поле, определяемом как строгим философским дискурсом, так и практикой использования приемов искусств, лингвистических категорий, технических понятий. Отсутствие непроницаемых границ между теоретической поэтикой, теорией музыки и теорией истории провоцирует философию к рассмотрению терминов, использующихся с равным правом во всех этих областях. К их числу едва ли не в первую очередь относится ритм. Неслучайно именно ритм вкупе с письмом и историей располагается, с точки зрения Р. Берча (Burch), «между философией и поэзией», причем ритм понимается как специфический элемент «музыкального мышления», способного не поддерживать метафизических оппозиций и чертить контуры постфилософской практики [170].

В классической философии традиционно сложилось слишком осторожное отношение к ритму по причине его, как пишет М. Морс (Morse), «подозрительно эстетического аромата» вкупе с его же «пустой универсальностью», демонстрирующей содержательный аспект преимущественно в области искусства [194]. Отличительная особенность ритма состоит в том, что ритм всегда остается средством, формой и механизмом выражения, но не способен выступать в качестве «полноценного» понятия. По этой причине, а также вследствие того, что вся западная метафизика критикуется как метафорическая (в частности, в творчестве Ж. Деррида), ритм становится центральным элементом современной эстетики. Очевидная направленность современной философии истории, развивающейся под влиянием постмодернистского мировоззрения, на структуралистский, эстетический и прагматический подход к исследованию прошлого позволяет нам переосмысление исторических концепций и конструкций как вариативных моделей ритмических единств.

С нашей точки зрения многочисленные проекты философии истории предложили три основных подхода к понятию исторической динамики, разнящиеся, прежде всего, по своему отношению к прошлому. В функции того, какое время полагается неизменно данным, в них предлагаются поня-

тийные схемы его «вечного возвращения», т.е. принципа циркуляции данного, обуславливающего определение искомого прошлого. В соответствии с ним схема каждого типа определяет в общих чертах свое отношение к прошлому, степень его значимости, возможности его фиксации и, тем самым, сводную роль исторического прошлого для настоящего и будущего.

1. В спекулятивной философии истории в качестве данности выступает Будущее, определяющее весь ход истории, ее непреходящее значение и конечную цель. История как «вечное возвращение Будущего» выясняет реальный принцип хода единственной Истории. Историческая ритмика как выражение особенностей множества феноменальных процессов при таком подходе неизбежно считается проявлением «досадных недоразумений», мерилom несущественных форм преходящих исторических коллизий. Как формулирует Э. Трельч, первостепенной важностью обладает «логически решающая точка зрения», которая «...состоит в том, что исходить следует не из подсчета элементарных процессов, а из их созерцаемого единства и сочетания в... исторически значимое жизненное целое» [120, С.32]. В системе координат, где «хроника является останками истории» (Кроче), а сама история – «проблемой логики» (Шпет), любые проявления ритмичности в Истории заведомо обесценены принципом ее развертывания и, следовательно, анализ подобных проявлений в метафизическом измерении не имеет особого смысла. Любое *множество* ритмов, отражающих ход в разнорядности «элементарных процессов», заведомо подлежит сведению к единству ритма исторического бытия.

2. Структуралистско-позитивистская философия в качестве данного рассматривает Прошлое, участвующее в формировании настоящего, которое неравномерно зафиксировано в источниках, результатах прошлой деятельности, следах. Прошлое неизменно и постоянно актуализируется, и потому история – это «вечное возвращение Прошлого», диктующее основания настоящего. «Разве настоящее – патетически вопрошает Ф. Бродель – не находится больше чем наполовину во власти прошлого, упорно стре-

мещающегося выжить?» [23, 3, С.11]. В традиции, продолженной последователями мир-системной теории, история мыслится как некая неоднородная цельность, в которой наблюдаются видоизменения относительно устойчивых структур, пластов, слоев, систем и ансамблей, каждому из которых присущ свой ритм. Другими словами, история – в пределе – мыслится как тотальная, хронологически движущаяся история, но не как единственно данная всемирная история. Она представляет собой не однородный поток, но *множество* потоков, взаимодействующих между собой и способных создать различные результирующие комбинации. При этом историческая ритмика исследуется в качестве источника полиритмии истории в целом.

3. Философия истории в русле постмодернизма как современного прагматизма в полной мере оправдывает категорическое мнение Шеллинга о том, что «любая история, которая не является всемирной, может быть только прагматической...» [140, С.455]. Для нее в качестве данного выступает Настоящее, определяющее возможности и целесообразность восприятия истории как текста, создающегося по мотивам фрагментов прошлого, имеющих практическое значение для будущего. Возможности восприятия истории определяются по складывающемуся отношению к образу прошлого. Здесь история – это «вечное возвращение Настоящего»; своего рода практика настоящего, подразумевающая бесчисленное *множество* писанных историй, каждой из которых присущ свой ритм. Широкий выбор историй различной тональности и художественной интенсивности помогают обживать настоящее; каждая из них «удобна» тем, что создает свой терапевтический и, отчасти, эстетический эффект восприятия прошлого. Таким образом, они помогают – средствами т.н. «новой мифологии» – избавиться от архетипического ужаса перед историей, избавляя историческое мышление от единственного неотвратимого прошлого.

С помощью проделанного экскурса мы можем отметить три пункта, которые осмысливаются в каждой из вышеупомянутых философских направлений. Во-первых, это лежащее в их основании представление о про-

шлом. Во-вторых, это задействованное понятие ритмичности анализируемых процессов. В-третьих, это решение вопроса множественности, распространяющееся, в свою очередь, как на представление о прошлом, так и на сферу ритмики. Именно особенности разрешения проблемы ритмической организации того, что относится к прошлому, рассмотренные сквозь призму «множества» и производных от него понятий предопределяет дальнейший ход рассуждения.

Первым делом мы вправе констатировать тот факт, что какое-либо «самостоятельное» прошлое не рассматривается в спекулятивной философии истории. Оно же является детерминирующим фактором настоящего для структурализма и, в определенном смысле, производной настоящего при прагматическом подходе. Исходя из этого, становится ясно, что перспективы анализа исторической ритмики на поле спекулятивной философии практически равны нулю. Постмодернистский подход переводит вопросы исторической ритмики в пространство истории-текста, где и осуществляется практика. Здесь на передний план выходят формальные признаки литературности (в том числе и ритм), которые анализируются и как способы создания историй, и как механизмы, отвечающие за адекватность комплексной текстуальной реальности – ее фактуальной составляющей. Наконец, структуралистская позиция в наибольшей степени ориентирована на изучение элементарных процессов, отслеживание диахронического «мелькания микроритмов» (Барт) и анализа ритмики, выдающей принципы функционирования структур.

Также нельзя не заметить, что в спекулятивной философии истории крайне низок интерес к множеству ритмов, каждый из которых выражает специфику тех или иных исторических форм. Постулируемое единство исторического бытия, характеризуемое унифицирующим все ритмичности ритмом всемирной истории, вводит универсальное ценностное измерение, в котором локальные особенности не важны. В такой системе с необходимостью выкристаллизовывается абсолютный смысл исторического процес-

са, что ведет, как замечает Д. Ла Капра (La Capra), к «...абстрактному метафизическому модусу анализа, в котором специфика потеряна или затенена» [185, Р.40]. А значит – возвращаясь – исследование исторической ритмики методами из арсенала метафизики истории не имеет особого смысла. Причина же состоит в том, что метафизическая позиция полагает понятие единого приоритетным по отношению к множественному. Как результат мы получаем единственность истории, ее ритма и смысла.

Что касается современной философии истории, то ее отправной точкой становится множественность, которая не подчинена с необходимостью единому как мере исторического бытия. Напротив – утверждаемое единое становится возможным только при условии наличия множественности, которая приемлет субъективно накладываемые на нее специфические условия единства. Можно сказать, что всякое из очерчиваемых как «положений вещей» единств возникает путем введения концептуальной схемы отношений между дискретными элементами рассматриваемого множества. Как резюмирует Визгин, эти моменты отражают изменение образа исторического мышления вследствие «структуралистской революции». Это относится к «...выдвижению на первый план категории дискретности...», переоценке оппозиции «вещь-отношение» и теоретической легитимации «...воздействия познающего историю субъекта на нее саму как объект познания» [32, С.40]. Особенности нового образа мышления влекут за собой изменения и в практике исторических исследований, и, в широком смысле, в понятиях социальной философии. Новая историческая наука, с удовлетворением отмечает М. Фуко, функционирует «...множа пригнанные друг к другу и, вместе с тем, независимые истории, так что множественность экономики соседствует с множественностью институтов, наук, религии и литературы...» [128, С.12]. Отсутствие предпосылаемого единства социальной и исторической действительности через множество историй, производящих множество смыслов, «снимают» ситуацию «конца истории», озна-

чающей исчерпанность «того самого» единственного смысла «той самой» единственной истории.

Вне всякого сомнения, попытки подхода к истории с помощью иной терминологии основываются, в том числе, и на проблемах идентичности, актуализировавшихся в последнее время. Идентификация стала невозможна как стабильный социальный статус; любой индивидуум занимает ряд различных, неоднозначно совмещенных положений в множестве сообщающихся реальностей. В таком положении его идентичность проблематична и сводится к артикуляции той или иной композиции собственных позиций, объединенных и сведенных в систему посредством превентивно введенных доминант. Обобщая можно сделать отсылку к убеждениям Ж. Делеза и Ф. Гваттари, утверждающим, что сам познаваемый предмет – это множественность. При этом в качестве этого предмета выступает любой исторический объект, история, познающий свое прошлое субъект и т.д.

Всякая философия истории, стоящая в оппозиции к спекулятивному мышлению, оперирует терминами множественности, и тем, в первую очередь, ставит под сомнение единство мира прошлого, с которым приходится иметь дело исторической дисциплине. Возьмем – для примера и в сравнении – две точки зрения: отражающую позицию структуралистской истории и общую для любой постмодернистской философии истории. Когда Бродель говорит об объекте исторического исследования, он поясняет, что объект – «...это и множественное число, и единственное»; т.е. некий «множественный конгломерат», множественность, которую историк старается сделать осязаемой [25, С.102, 20]. Это значит, что единство достигается при помощи инструментов, приемов, способов, но не предшествует практике. С другой стороны, когда Анкерсмит настаивает на том, что «...единство – собственность языка историков, а не мира...» [162, Р.428], он проводит мысль о субстантивирующей роли языка как инструмента и способа, с помощью которого на практике осуществляется единство. И один, и второй, вступая в заочный спор с Платоном, адресуют право на-

значения и утверждения меры бытия мира познающему его субъекту. Обратно говоря, они оба не разделяют веру Платона в то, что не у человека, а только «...у бога достанет и знания, и мощи, дабы смешить множество в единство и сызнова разрешить единство в множество...» [102, С.474]. Познающий, не желающий оставаться свидетелем одного и того же смысла, имеет дело с множественностью (которая в платоновской схеме бессмысленна) как с местом, в котором рождаются смыслы. Из этого вытекает, что характеристики, приписываемые тому или иному единству или общности, зависят от параметров множества, элементы которого подвергаются объединению. А значит – от способа, манеры, стиля объединения, а также от типологии составляющих множество элементов.

В таком случае вообще «история» как некое мыслимое единство подпадает под невозможность ее однозначного определения в единственном числе. Приложение к ней понятия множественности приводит к тому, что, как пишет Й. Рюзен (Rusen), «...мы должны признать на деле: существует лишь множество историй, а не единственная история (*the history*) как фактическое бытие» [111, С.24]. Тогда любой постулируемый ритм исторического бытия (ритм исторического процесса, ход истории) автоматически «распадается» на предшествующее ему множество свободных ритмов, отсылая к той сфере исторической ритмики, возможная организация которой не инвариантна. А это ведет к выводу о том, что, будучи последовательным, следует признать и необходимое для историй «прошлое» топологически открытым множеством, позволяющим выделение в своей среде топологически замкнутых подмножеств, каждое из которых обуславливает свою историю. Действительно, если, как формулирует Рюзен, «прошлое уже присутствует, когда историческое мышление начинает задавать вопросы, порождаемые потребностью в исторической памяти...» [там же, С.16], то в связи с вышесказанным возникает вопрос: каким образом присутствует то, что по определению является неисправимо отсутствующим? И если – как считает Арон – «...история и некоторые духовные науки изу-

чают пережитое единство, но оно в своей тотальности недоступно...» [10, С.236], то не значит ли это, что прошлое в своем гипотетическом единстве есть лишь идея, без которого историческое мышление не может сделать и шагу? И, наконец, если мы имеем дело не с целостным прошлым самим по себе, но с идеей прошлого, то такая идея должна, по всей видимости, оказаться неким идеальным единством, налагаемым на некоторое эмпирическое множество.

### **Выводы к разделу**

Проведенный нами ретроспективный анализ понятий ритма, доминирующих в метафизике истории, показал, что их использование исключает саму возможность исследования специфики исторических форм. В том случае, когда ритм понимается как выражение имеющей смысл процессуальной целостности, его действие отождествляется с циклическим воспроизведением или регулярным повторением универсальных структур, конечный набор которых исчерпывается в ходе развертывания диалектического принципа, обуславливающего единый всемирно-исторический процесс. Ритм, понимаемый в единственном числе как ритм единого исторического бытия, играет роль унифицирующего механизма, действие которого квалифицирует любые ритмические явления как частные случаи, особенности которых снимаются в универсальности целого. Это свидетельствует о том, что в гегельянской философии история лишается своеобразия составляющих ее эмпирическое содержание элементарных процессов, оставаясь проблемой логики как созерцаемое единство.

В то же время богатство семантических оттенков понятия ритмичности, раскрываемое в переосмыслении античного наследия, становится основанием для выведения собственно исторической ритмики из растворяющей ее среды идеального бытия. Как мы выяснили, идеальная мера, которая мыслится присущей реальному историческому бытию, оказывается эффектом соотношения свободных ритмов и их охватывающей «упа-



ковкой» (Делез). Из этого следует, что наряду, с возможностью выявления размеренности единственного ритма истории, имеется возможность проследить игру его образующих. Если ритм идеальной истории предстает в качестве метрического оригинала и олицетворяет статику принципа развития и закономерность исторического процесса в целом, то историческая ритмика представляет собой динамическое выражение множественности исторических форм. На проверку оказывается, что в платоновской схеме кроется возможность неподчинения ритмики реализующихся явлений – стационарному метроритму универсума.

Мы показали, что нивелирование и обесценивание проявлений ритмичности, отличных от постулируемого в качестве единственного ритма истории сопряжено с попытками абсолютизации будущего или прошлого. Выдвижение как неизменного и определяющего структуру наблюдаемых процессов будущего, свойственное спекулятивной философии истории, исключает самостоятельность прошлого и превращает историю в свершаемую вневременность. Рассмотрение прошлого в качестве неизменной данности, обуславливающей процессы настоящего, свойственное сциентистской установке, превращает историю в разновидность внутренне детерминированного природного процесса. В то же время, переменный характер настоящего, взятого в качестве определителя времен, позволяет избежать столкновения как с однозначно фиксированным прошлым, так и с неотвратимым будущим.

Неоднозначный характер прошлого вызывает необходимость использования в философии истории понятия множественности, в терминах которой мы вынуждены констатировать отсутствие единственного языка, излагающего универсальную историю, обладающую единым ритмом. Различные истории, каждая из которых протекает в своем ритме, отсылают к проблематическому и неопределенному прошлому, прояснение статуса которого производится нами во втором разделе.

## РАЗДЕЛ 2

### АКТУАЛИЗАЦИЯ «ИДЕИ ПРОШЛОГО» КАК ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Проблема достижимости прошлого и рода его связи с настоящим является, по мнению Рюзена, одним из наиболее существенных моментов, который определяет отличие постмодернистского исторического мышления от модернистского. Он полагает, что «...генетическая связь между прошлым и настоящим разрушается и отвергается постмодернистской историографией», которая отвергает концепцию развития и «...требуется вернуть прошлому его собственное достоинство» [111, С.19]. Однако, все же, история изучает прошлое, эту – по грустной сентенции Вена (Veyne) – «...бездну, недоступную нашему взгляду» [30, С.72]. Нет сомнения в том, что всякая «история» как-то относится к «прошлому». Но тщетность усилий по созданию интегральной парадигмы изучения прошлого, предпринятых метафизикой истории, влекут за собой и сомнения в характере этого отношения, и пересмотр статуса обоих членов этого отношения. Неопределенность кроется уже в определении последних: три значения «истории» – знание, текст и реальность – как показывают Савельева и Полетаев, взаимосвязаны, и связующим звеном является «текст» [112, С.13]. И если, как мы только что сказали, генетическая связь прошлого и настоящего, в котором создается история, изучающая прошлое, разрушена, то прошлое не служит необходимой причиной истории. Как свидетельствует О. Гавришина, для всякой философии истории, которая считает центральным не понятие «прошлое», а понятие «текст историка», их традиционное причинное отношение переворачивается. «Понятие «прошлое» при этом не исключается совершенно, но оно оказывается *следствием* текста историка, а не его причиной» [35, С.331].

В связи с кардинальным предложением Х. Уайта (White) рассматривать прошлое как текст, сложилась ситуация, в которой отношения «про-

шлого» и «истории» можно свести исключительно к операциям внутри текста. Текст, повествующий о прошлом, становится единственной реальностью, с которой приходится иметь дело исследователю, в то время как гипотетическое «прошлое само по себе» в тексте не представляется. Парадоксальность ситуации заключается в том, что история – как дисциплина, которая должна обеспечивать возможность свидеться с самим прошлым «как оно было» – вынуждена мириться с отсутствием мира прошлого как своего предмета. Или, точнее, она сталкивается с множественностью своего предмета, вынуждающей конструировать его единства как образы, чтобы потом делать какие-либо заключения о прошлом по его образу и подобию. Историку приходится довольствоваться теми образами прошлого, которые он может образовать по остаткам, следам того прошлого, которое более не доступно. В этом смысле он изучает не искомую прошлую реальность, а настоящую реальность, представленную преимущественно в текстовом формате.

Тем не менее, понятие прошлого остается используемым и регулятивным в исторических исследованиях; оно в каком-то виде обязательно фигурирует в них. Более того, каждая история претендует на объяснения прошлого, хотя проблематическим остается сам механизм касания историческим текстом – не наличного прошлого самого по себе. Во главу угла выдвигается также вопрос о том, с каким именно прошлым и в какого рода «отношения» вступает история. Ведь если она изучает прошлое, которое само по себе недоступно, и реальность которого достигается за счет эффекта, создаваемого историческими текстами, то в таком случае – резюмирует Кукарцева – «получается, что нет реальности, лежащей вне текста, и прошлое есть только наша идея» [68, С.35].

Анкерсмит – как представитель нарративного идеализма – ставит подобный вопрос в связи с анализом основных идей, изложенных Уайтом в «Метаистории...». Он констатирует, что в своей теории, ознаменовавшей начало «лингвистического переворота» в философии истории, Уайт

«...просто... не обсуждает проблему того, как исторический текст касается прошлого», а потому его теория «...не дает никакого ответа на вопрос о том, как лучше всего объяснить прошлое» [2, С.11]. Озабоченность Анкерсмита понятна – предложенная модель структуралистской сетки, в пределах которой возможно существование исторических текстов не решает эпистемологических проблем отношения между историческим текстом и собственно прошлым. Заявляя о своем интересе к способам, «...какими историки конституировали прошлое как возможный *объект* (курсив наш – М.Ш.) научного исследования или герменевтической нагрузки...» [124, С.11], Уайт ведет исследование в текстуальной области, оперируя понятием прошлого, но не проясняя его.

Аналогичные претензии в связи с понятием прошлого, – но как представитель нарративного реализма – предъявляет к автору «Метаистории...» и Трубина. Она не без основания замечает, что Уайт предпочитает развивать свои идеи в рамках исследуемого им исторического поля, которое «...становится чем-то определенным, например, тем, что *действительно происходило*», при этом «...тщательно обходя вопрос о природе исторической реальности» [122, С.502]. Историческое поле – признает сам Уайт – как некая действительность, с которой ведет работу историк, становится таковой, конституируясь в сложном процессе, лишь финальная стадия которого включает в себя выбор и применение тропа. Уайт обходит стороной вопрос об элементах исторического поля, предварительных стадиях его конституирования и об особенностях его конституции, но делает упор на применяемом доминантном тропе, «...в котором этот конституирующий акт доводится до конца» [124, С.495]. Таким образом, вопрос о том, что служит необходимым условием возможности совершения конституирующих историческое поле актов остается открытым и в тропологическом, и в структуралистском аспекте.

Пытаясь решить этот вопрос, Анкерсмит критикует теорию Уайта как своеобразную копию исторической теории Деррида, оставляющую без

должного внимания внетекстовую реальность, а также пытается предложить проект эпистемологии в некантианском духе. С его точки зрения «...не существует двух вещей: 1) «сущности» прошлого и 2) нарративного представления этой «сущности» [3, С.86]. Разводя понятия «знание прошлого» и «знание о прошлом», он, по сути, настаивает на необходимости различения прошлого, которое выступает как предмет, притягивающий устремления историка, и прошлого, которое выступает как объект конкретного исторического исследования. Предметом исторической дисциплины является прошлое, которое не подвержено проверке или эксперименту, – некое прошлое само по себе или прошлое как таковое, которое носит ноуменальные признаки. Из этого следует, что «...прошлое само по себе не является логичным или алогичным, последовательным или непоследовательным...» [там же, С.178], его можно «знать» только по его описаниям (зачастую апофатическим), но нет никакого неизменного исторического прошлого, служащего твердым фундаментом таких описаний. Так как не существует «сущности» прошлого, Анкерсмит считает принципиально необходимым отвергнуть представление о том, что существует неизменная историческая действительность. Образно говоря, историк ориентирован на прошлое само по себе как на свой предмет, он обращен к нему, но не видит его непосредственно. Он имеет дело с прошлым как объектом, с прошлым, которое им «...показывается при помощи таких сущностей, которые не составляют части самого прошлого и даже не отсылают к действительным историческим явлениям...» [там же, С.130]. Коротко говоря, прошлое, которое не имеет сущности, показывается посредством сущностей, которые не принадлежат прошлому.

Следовательно, есть необходимость поставить вопрос о том, каким образом соотносятся между собой «нереальность» прошлого, подвергающегося описаниям, и текстуальная реальность прошлого, формирующаяся посредством этих описаний, отсылающих к идее прошлого. Для этого нам необходимо, прежде всего, прояснить понятие идеи прошлого.

## 2.1. Понятие «идеи прошлого» как параметризованного множества

Интерпретируя традиционное понятие «идеи», Делез предлагает свое определение, базируясь на позициях эмпиризма. Он предлагает понимать Идею как «...определенное непрерывное множество с  $n$  параметров», т.е. множество в некотором числе измерений, которые есть «...переменные величины или координаты, от которых зависит феномен» [49, С.226]. Это значит, что 1) множество как разное дано; 2) это множество имеет пределы и параметризовано; 3) внутри этого множества действует система, согласно которой все элементы множества координированы. Для такого множества как данного задана его топология, что означает определенность типов всех возможных операций с элементами, принадлежащими этому множеству. Поскольку это множество (Идея) одновременно и «...топологическое понятие» [50, С.37], и «...определяется как структура» [49, С.226], мы имеем его как ассоциацию индивидуализированных элементов, для которых известны как параметры «пространства», в котором они могут сочетаться, так и допустимые правила всех их возможных сочетаний. Это множество операционально и в своей определенности структурировано.

Множество как данность задается посредством различия [там же, С.277]; в нем различены составляющие его элементы. Другими словами, элементы множества разнствуют за счет как минимум начального уровня их индивидуации: уникального для каждого их них положения в системе координат, описываемого комбинацией показателей. Тем самым очевидно, что каждый элемент множества определен как «точка» с координатами ( $x$ ,  $y$ ,  $z$ ...), не совпадающая ни с одной другой такой же «точкой». Собственно, базовое различие элементов проистекает не из-за того, что различны сущности самих элементов. Поскольку Делез неоднократно подчеркивает неприменимость понятия «сущности» к Идее – «Идея – не сущность» и «...область Идеи – это несущностное» [там же, С.232], – элементы Идеи

как множества следует мыслить как определенные не-сущие, номинально различающиеся между собой, что демонстрирует числовое выражение их местоположения.

Такая форма различия между элементами вкупе с тем, что эти элементы не принадлежат области сущего, подкрепляет мысль о том, что различие, на основе которого образуется множество, не динамическое различие, а (дис)позиционное. Поскольку Идея определяется как множество параметризованное, мы с полным основанием можем вести разговор о *метрике* Идеи, а следовательно, и о том, что диспозиционное различие элементов Идеи есть – по всем правилам математики – расстояние на множестве. Идея как нечто метрически «чистое» лишена динамизма. Это значит, что элементы множества расположены вне какого-либо движущегося времени; действительно, Идея в своей определенности не может быть изменяющейся в потоке времени, она – как помечает Делез – в чем-то сродни пространству [там же, С.283], однако это следует понимать не как пространство, отделенное от времени, а скорее как метризуемое пространство, представляющее совокупное состояние застывших времен.

В математическом времени И. Ньютона, протекающем равномерно и как бы развертывающемся по ходу событий, момент, когда событие произошло, *post factum* датирован независимо ни от длительности события, ни от того, чем оно было «на самом деле». Время оказывается испещренным фиксированными точками, – знаками, сопряженными с определенными датами, индексирующими окончившиеся события. Последовательность дат, таким образом, аналогически повторяет последовательность эквивалентных моментов, составляющих основу такого времени. Более того, в этом абстрактном времени все даты «существуют» независимо от того, «заполнены» ли они событиями: они одновременны как точки оси координат. Абстрактная временная ось симметрична; асимметрия может появиться только в случае введения причинно-следственных отношений между лежащими на ней точками. Однако в том случае, когда точки принадлежат матема-

тическому времени, они расположены в хронологическом порядке подобно числам в числовом ряду, т.е. занимают определенное *место* во времени, отмеченное их датой. Тем самым, – останавливая формальное течение времени, не отсылающее к сущности событий, – мы располагаем диспозицией дат, каждая из которых есть проиндексированный след события, имевшего место в *свое* время.

Если полагать, что нам дано топологическое множество датированных (т.е. начальным образом индивидуализированных) элементов, метрику которого образует дискретность и многообразие, то мы получаем некоторое подобие пространства, которое можно определить как опространенное время. В таком пространстве соблюдается размерность хронологической субординации, указывающая на то, что оно – неподвижное (застывшее, мертвое) равномерное время, т.е. оно параметризовано также как такое время. Другими словами, мы имеем в качестве данного своего рода «план местности», коллекцию координат, структурную аккумуляцию следов, т.е. пространство архивированного времени. Это вместилище различных элементов, для которых дано их расстояние в неподвижном времени датирования, – своего рода архив или коллекция дат, сама организация которой подчиняется «принципу отношений» всякой коллекции с реальным временем. По свидетельству Ж. Бодрийяра, специфичность коллекции заключается в том, что она «...подменяет собой время» и демонстрирует свою способность «...переключить реальное время в план некоей систематики», которая «...попросту отменяет время» [20, С.107]. Причем, так как помещаемое в архив предполагает его фиксацию *post mortum*, в данном случае следует вести речь об идеальном посмертном архиве, который не соответствует историческому времени [104].

Согласно Делезу, «...Идея совершенно лишена актуальности» [49, С.335] и из этого исходит ее виртуальность, которая, впрочем, не подразумевает наличие оппозиции «виртуальное – реальное». Исподволь Делез переворачивает гегелевское определение – «реальность есть идея», – по-



стулируя, что «идея есть реальность». Идея реальна, будучи виртуальной; реальность заключается в элементах и связях, подчиняющихся ее метрике и составляющих ее структуру, и сама структура определяет условия и факторы возможных актуализаций Идеи.

Какова же форма «существования» Идеи? Делез, отчасти отдавая должное кантовскому понятию ноумена, утверждает, что существование Идеи проблематическое. Однако при этом он не принимает понятия Идеи в русле кантовской доминанты безусловного единства, продолжая настаивать на понятии Идеи как множества, которое предшествует всякому единству и которому единства недостает [48, С.190-191]. В определенном смысле Делез переосмысливает древнегреческую модель, согласно которой в основании сущего находится «распря» (Эмпедокл) или «изначальное расхождение» (Платон). Полагая в основание эмпирические различие и множество, предшествующие всякому понятийному единству и тождеству, Делез подразумевает потенциальное напряжение, «заложенное» в саму структуру Идеи и тем предполагающее проблему ее вечной неразрешенности. В согласии по этому вопросу с Делезом и Фуко, подчеркивающий, что «идея существует только в форме проблемы,... которая непрестанно порождает вопрошание» [130, С.460]. Из этого следует, что никакое обращение к ней не предполагает ни однозначного ответа, ни единственного имманентного ей смысла. Повторяющееся обращение к идее, т.е. непрестанная актуализация идеи различными способами и с применением различных концептов, «предлагает» варианты единства, выступающие как дополнительные по отношению к идее. Это создает ситуацию, в которой отсутствует фундаментальная определенность актуального; том числе – и определенность субъекта. Последнее драматично и предполагает необходимыми действия, направленные на актуализацию Идеи, результатом каждого из которых становится также и самоидентификация. Именно драматизация Идеи и полагается Делезом в качестве фактора ее актуализации, которую определяют динамические процессы.

В вопросе о действиях актуализации Идеи Делез, имея в виду драму, разрабатывает тему «трагического», заимствованную у Ницше, и отчасти наследует Аристотелю, для которого «...сама драма называется действием» [7, С.648]. Он выдвигает драматизацию как творчество задействия Идеи; тем самым подразумеваются стратегии и формы актуализации Идеи, – творческие действия по формированию и форматированию области сущего в качестве области (раз)решений Идеи как проблемы и как структуры. Область Идеи подвергается введению в нее времени посредством приложения к ней действий: происходит динамическая трансформация, «...своего рода темпоральная инъекция» [104], как говорит В. Подорога, в результате которой некоторое существование производится в практическом плане, но исходя из реальности самой Идеи. Это означает образование действительности по образу Идеи, при котором параметры действительности обусловлены метрикой Идеи. Действительность представляет собой актуализированную (т.е. драматизированную) Идею, которая – как посмертный архив или структура голого математического различия – выполняет «...формальное условие для начала интерпретации» [там же] себя, и – как задействованная структура или активированный архив – определяет правила появления высказываний относительно себя.

Всякое же высказывание, как полагает Фуко, подразумевает осуществление власти над тем, чего оно касается; высказывание применяется через субъект и принадлежит тому полю, «...где у него есть место и статус, который предполагает для него возможные отношения с прошлым и открывает прогнозируемое будущее» [128, С.100]. Высказывание существует относительно поля предшествующих ему элементов, реорганизует предшествующее и метит в будущее; с «применением» времени для актуализации Идеи высказывание и полагает предшествующие реорганизации в качестве прошлого, и «...становится своим прошлым...» [там же, С.125], определяясь по предшествующему.

Можно ли мыслить делезовскую Идею как структурированное множество номинально различающихся элементов, т.е. как своеобразный архив и как некое прошлое по отношению к области дифференцирующей актуализации, понимая под дифференциацией категорию истории? По всей видимости, – да. Мы можем согласиться с мнением о том, что архивы приводят нас в соприкосновение с «чистой историчностью» (Леви-Стросс). Косвенным подтверждением такого положения становится и утверждение Делеза о том, что Идеи находятся «...в производстве актуального исторического мира» [49, С.235], а значит, сами Идеи могут быть поняты как и виртуальные, и исторические области. В таком случае позволительно ли говорить об Идее прошлого, актуализация которой посредством высказываний о прошлом создает вариативное поле исторической действительности? Да, Делез дает нам такую возможность и даже провоцирует ее, утверждая, что «существуют... различные порядки Идеи...», которые воплощаются в определенных полях и выражениях, отвечающих определенным наукам. Идея понимается в данном случае как проблематическая и диалектическая и «...исходя из диалектических проблем и их порядка, идет процесс образования различных научных областей» [там же, С.224]. В таком случае, если мы имеем в виду область исторической науки, нам необходимо перейти к оперированию понятием *идеи прошлого* для того, чтобы иметь возможность решать вопрос отношений между прошлым и его представлением в истории. Ведь если «...история идет путем решения задач и утверждения различий...» [там же, С.323], то следует предположить, что эти задачи истории вырастают из проблемы прошлого. Равно как и то, что эти задачи рождаются как попыток разрешения прошлого, существующего как проблема, и что утверждаемые историей различия имеют исток в том базирующемся на различии множестве, которое выступает как необходимая истории идея прошлого.

Необходимость введения понятия идеи прошлого косвенно оговаривается в исследованиях Анкерсмита, который ставит вопрос о реальности и

виде прошлого, с которым имеет дело историк. В русле идей Барта, касающихся того, что реальность прошлого, с которым возможна коммуникация, не существует самостоятельно, но достигается посредством исторического текста, он упоминает идею прошлого как безусловно необходимое понятие. При этом он убежден, что «никто... ни на мгновение не допускает, что прошлое есть просто чья-то субъективная идея» [2, С.248]. Тем самым Анкерсмит хочет сказать, что в исторической науке не ставится под радикальное сомнение само «существование» прошлого; напротив, – понятие прошлого исподволь присутствует в любом виде исторической ретроспективы. Но в функции от того, каковой мыслится «форма существования» прошлого, решается вопрос о «характере» той исторической реальности, которая становится полем и объектом исследования. Это склоняет нас к мысли о том, что идея прошлого должна, по-видимому, обладать какой-то специфической формой реальности в том смысле, что она не является исключительно субъективным представлением. В то же время, идея прошлого не представляет собой и объективную идею. Анкерсмит особо подчеркивает это положение, вытекающее, по его мнению, из бартовской теории исторического дискурса: «прошлое – это наша идея прошлого, и она *нуждается* (курсив наш – М.Ш.) в объективности...» [там же, С.309].

Мы считаем, что есть основания понимать в дальнейшем идею прошлого как Идею в интерпретации Делеза, распространяя на идею прошлого те качества и функциональные особенности, которые используются для определения Идеи. К этому подталкивают, в частности, те принципиальные для нас аспекты Идеи, связанные с формой ее существования и механизмом актуализации, на которых настаивает Делез.

Перечислим некоторые из них.

Во-первых, Идея принадлежит области несущностного, но «...существует эмпиризм Идеи» [49, С.335]. Т.е. она есть композит, ассоциация результатов прошлых актов перцепции, не приведенных к единству посредством активного синтеза. Это – множественность, унаследовавшая

разрозненность и размеренность, которые адекватны самому характеру восприятия феноменов. Полемизируя с Кантом, Делез полагает трансцендентальное как то, что не копируется с образов эмпирического, но сохраняет эффект эмпирически различного.

Во-вторых, Идея обладает и эмпирическими признаками, которые свойственны всякому множеству как элементарному математическому понятию, и топологическими качествами, обуславливающими возможность продуцирования концептуальных единств в области решений Идеи. Область собственно Идеи и область решения Идеи разнесены – как, соответственно, область несущностного и сущностного. При этом «...идеальные связи, образующие проблемную (диалектическую) Идею, воплощаются... в реальных отношениях...» [там же, С.222], в которых присутствует математический элемент.

В-третьих, Идея «...обладает полной реальностью в качестве виртуального» [там же, С.256], и поле актуализаций ее как «чистой историчности» есть историческое поле, в котором возможно существование исторических объектов. Тем самым можно сказать, что актуализация производит из проблематического предмета – исследуемый объект, т.е. при участии действующего субъекта конституирует поле исследования в области возможного опыта, адекватное структуре исторического *a priori*.

Идеальный посмертный архив, содержание которого составляет множество хронологически координированных не-сущностей, и есть – по нашему мнению – идея прошлого. Как понятие она «...обуславливает применение категории отношения... ко всем объектам возможного опыта» [46, С.385], т.е. к тем объектам, которые конституируются как объекты, описываемые историей. Как идея регулятивная она служит залогом постоянного обращения к себе как к прошлому самому по себе. Как структурированное данное идея прошлого обеспечивает практику интерпретации своей структуры как определяющей тип, характер и правила генерации высказываний о прошлом. Т.е. идея прошлого как представление переадресует акты об-

ращения к практически недоступному прошлому к себе как к регулируемому представлению о прошлом, с которым понятия прошлого могут быть соотнесены.

Степень реальности этой идеи такая же, как и степень реальности прошлого самого по себе. Перефразируя Канта можно сказать об идеи прошлого, что она – как нечто – есть реальность, но – по отсутствию своей сути – есть ничто как «...понятие об отсутствии предмета...» [61, С.213], т.е. как понятие об отсутствии прошлого самого по себе. Однако если прошлое само по себе практически недоступно, то идея прошлого может быть актуализирована, т.е. превращена в динамическую систему производства высказываний о прошлом.

Производя высказывания о прошлом, мы опираемся на некоторую производную действительность, которая есть результат нашей драматизации идеи прошлого. Причиной появления подобных высказываний следует считать то, что идея прошлого существует для нас как проблема; иницируя вопросительное отношение к себе, идея прошлого, в то же время, предоставляет как разрозненный материал для наших интерпретаций, так и структурный порядок, обуславливающий приемы и стиль интерпретаций. В связи с этим встает вопрос о том, как структура идеи прошлого, данная как множество разного, влияет на создание рядов высказываний, т.е. на создание фактической основы историй. Другими словами, нам следует прояснить как «природа» того, что фигурирует как идея прошлого, «относится» к историческому полю, служащему условием и залогом описания прошлого. А значит – сконцентрировать внимание на механизме актуализации идеи, равно как и на механизмах, действие которых приводит к появлению на свет исторических текстов.

Для этого отметим те моменты, которые следует из принимаемой концепции идеи прошлого, и будут в дальнейшем определять направления нашего рассуждения.

Во-первых, идея прошлого как множественность, которой не свойственно охватывающее единство концепта, не может служить единственным фокусом, квинтэссенцией единственного истинного значения, которое инициирует задачу выявления себя в ходе расшифровывающей интерпретации. Согласно формулировке Фуко, идея прошлого не может служить тем, подобным идее Истории, «первоисток», помещая в который настоящее «...метафизика хочет заставить нас поверить в темную работу предназначения...» [129, С.109]. Другими словами, идея прошлого не выступает ни в каком своем аспекте в качестве прародителя какого-либо *единственного* «смысла и назначения истории», который можно постичь (как полагает К. Ясперс), *подчинив* историю идее единства и «...идее исторической целостности» [159, С.31]. Мы можем говорить только о том, что всякий синтетический принцип единства, применяемый с некоторой целью в области актуализированной идеи прошлого, организует ее элементы в качестве заданных, т.е. организует формальное основание какой-то истории.

Во-вторых, поскольку идея прошлого есть эмпирически определенное множество элементов, не подразумевающее в пределах себя концептуального единства и цельности, она «репрезентирует» исключительно ее составляющие элементы в соответствии с их номинальными хронологическими параметрами, но отнюдь не гипотетические отношения «по существу» между этими элементами. Будучи несущностным собранием элементов, которые есть только в аспекте определенности их признаков, область идеи исключает какое-либо понятие причинности, так как ее элементы не могут находиться или вступать в отношения. Более того, – весьма сомнительно полагать саму возможность отношений между элементами, не являющимися сущностями. Если даже рассматривать элементы идеи прошлого как необходимые историку «факты» (в виду сопутствующей им датировки), то, как отмечает А. Данто (Danto), строгость рассуждения позволяет восстать «...против представления о том, что факты способны взаи-

модействовать...», т.к. «...взаимодействовать могут вещи...» [44, С.288], но не номинальные показатели.

В этом смысле понятие идеи прошлого конструктивно понимать с учетом точек зрения Юма и Канта на причинность. Комментируя этот аспект на стыке понятий Идеи и причинности, Делез отмечает, что, согласно Канту, «...мир – это Идея, которая обуславливает применение категории причинности ко всем феноменам» [46, С.386]. В то же время, согласно Юму, относящаяся к феноменальному миру «причинность чувствуется», т.е. она – результат перцепции субъекта [51, С.14]. А из этого еще раз следует, что область собственно идеи отлична от области и перцептуальной, и концептуальной деятельности также как проблема, которую надлежит разрешать, отлична от задачи, постановка которой означает начало этого разрешения.

В-третьих, идея прошлого и как диспозиция элементов, дистанцированная от перцептуальных актов, ее проблематизирующих, и как архив, дистанцированный от историй, его концептуализирующих, может решаться путем интенсификации и задаваться путем экстенсификации. В каждом частном случае эффект дистанцирования уже служит залогом интерпретаций, порождающих истории [157, С.19]. В общем смысле дистанцирование обслуживает как процессы перевода времени феноменальной реальности в реальность систематических измерений идеи прошлого, так и процессы актуализации идеи прошлого, производящие – согласно метрике последней – поле объектов, изменяющихся во времени, т.е. собственно историческое поле. Установлению исторического поля предшествуют постановления относительно действительности: действие «...дескриптивной «речи», направленной в прошлое» [126, С.73], выражающееся в производстве высказываний относительно прошлого, очерчивает контуры и предлагает конвенционально принять ту действительность, что позволяет впоследствии, в написании конкретной истории, утверждать, что нечто «было в действительности». В то же время, отмечает Фуко, «высказывание – не прямая



проекция определенной ситуации на план речи...» [128, С.100], оно подразумевает действительно «ассоциированное поле», в котором наблюдаются диспозиции высказываний. Это значит, что в ходе актуализации идеи прошлого, которая, будучи структурированной ассоциацией элементов, определяет формы актуализации себя, возникает поле ассоциации высказываний, которое в своих диспозициях адекватно диспозициям идеи прошлого. Что свидетельствует об адекватности топологии поля высказываний – и топологии идеи прошлого. Высказывания относительно прошлого оговаривают топологию идеи прошлого в терминах и времени настоящего, в действительности действующего субъекта, воспринимающего проблему прошлого как трагическую. Драматизация идеи прошлого некоторым образом транспонирует сочетающиеся с ее элементами «...формальные фиксированные признаки, вытекающие из порядка *a priori* как статического синтеза времени...» [49, С.118], – в фактические отметки «положения вещей», выстраивающиеся в опытном порядке, служащем следствием активного синтеза времени.

Наконец, в-четвертых, поскольку идея прошлого – это структура, составляющие которой – элементы, имеющие эмпирические признаки, то возможна типологизация этих элементов. Собственно говоря, применение типа в отношении прошлого как множества – это начало его актуализации, поскольку – как оговаривает Делез – «...любая типология драматична» [там же, С.268]. Само понятие типа подразумевает повторение чего-то по фиксированному признаку, что сопряжено с сепарацией данного, т.е. установление линий повторяющегося в среде различного. Это и основывает актуализацию идеи прошлого, которая есть движение: движение, согласное ходу мысли, динамизму рядов высказываний, динамике дискурсов. Местонахождение «материала», с которым имеет дело актуализация, – идея прошлого; драматизация же «... происходит в голове мечтателя и под взором ученого» [там же]. Это наводит на мысль, что практика, актуализирующая идею прошлого, сопряжена с воображением; она есть творческий акт, рои-

esis. Актуализация совершается как путем эстетического отношения к идее прошлого, так и путем интерпретирующего познания, скрывающего желание «...завладеть системой правил, которая сама по себе не имеет сущностного значения...» [129, С.111] и попытки подчинить анализируемое вторичным правилам, т.е. правилам разумным. В любом случае актуализация структуры означает учет ее метрической «размерности», обуславливающей «...ритмы, различные такты актуализации, соответствующие особенностям структуры...» [49, С.258].

Нас интересует в первую очередь ритмический механизм актуализации идеи прошлого и то, что является результатом этой актуализации. Для того чтобы это прояснить, нам необходимо рассмотреть 1) проблемы единства, сообщаемого актуализируемой идее прошлого, 2) проблемы актуального прошлого как фактической данности, 3) проблемы организации и функционирования рядов высказываний о прошлом, и 4) проблемы, связанные с «производством», природой и концептуализацией исторического поля.

## **2.2. Историческая реальность актуального прошлого**

Прежде всего, нам следует еще раз уточнить: идея прошлого понимается нами как данность, структурированное множество, архив, и составляющие его различные элементы есть датировки следов, которые оставлены тем, что, по-видимому, прошло. Актуализирующиеся во взаимных отношениях элементы идеи прошлого «производят» в области разрешений идеи вариативную настоящую действительность: множество следов гипотетического прошлого, наличествующих в настоящем, т.е. *историческое поле*. Такое понимание лишний раз подтверждает, по словам Д. Мило (Milo), «...банальный, но важный по своим последствиям факт: историк располагает не прошлым, а его следами» [86, С.191]. Это значит, что доступным является не само прошлое, не какая-либо субстанция, позволяющая восстановление сущности прошлого, но множество номинальных по-

казателей, по наличию которых можно предположить, что нечто имело место *ранее*. Нас будет интересовать механизм, специфика работы которого предоставляет необходимую для работы историка материю или, грубо говоря, материал исторического поля.

Казалось бы, что суть подобной задачи – исключить точку зрения спекулятивной философии истории, согласно которой существует объективная фактическая база, независимая от интерпретаций, и контролировать, как призывает Е. Карр (Carr), процесс, в котором «...простой факт о прошлом трансформируется в факт истории» [172, Р.12]. Это бы значило признать, что не все факты о прошлом являются историческими фактами, и сконцентрироваться на выявлении критериев этого различия.

Однако даже если допустить, что в результате актуализации идеи прошлого мы оказываемся лицом к лицу с множеством простых «фактов о прошлом» или, если точнее, единичных «высказываний о прошлом», то мы не можем отрицать того обстоятельства, что само получение и размещение этих высказываний подчиняется определенным «правилам». По мнению Фуко «...нет высказывания вообще, свободного, безразличного и независимого, но лишь высказывание, включенное в последовательность или совокупность...» [128, С.100]. Заочно полемизируя с Карром и вторя Фуко, аналогичным образом констатирует и Вен: «нельзя утверждать, что один факт является историческим, а другой – занимательным случаем, достойным забвения, поскольку любой факт входит в какой-то ряд...» [30, С.29].

Но если всякое высказывание (или факт) существуют исключительно как включенные в какой-то ряд, то они есть в определенной степени результаты работы мысли, направленной на прошлое. Можно сказать, что ряды высказываний о прошлом есть результат реакции субъекта на это прошлое как проблему, которая приводит к синтезу гипотетических единств в области разрешения проблемы. В то же время способность и необходимость мыслить себе прошлое, сводя следы последнего воедино, регулируется идеей прошлого. Фуко мыслит такое единство – «...единство

фактов высказывания...» – как дискурсивное поле, в котором появляется «...единство характерной реальности...» [128, С.162]. Для Фуко единство – это единство дискурса, т.е. единство порождаемого мыслью ряда высказываний; Вен убежден, что «ход мысли – это составление ряда...» [30, С.183]. Делез, также соглашаясь с тем, что «...мыслить – создавать серии...» [50, С.153], особо оговаривает тот момент, что такого рода единство системно и обусловлено Идеей. Его позиция зиждется на том, что единство – это «...единство расходящихся рядов как таковых» [49, С.157], причем ряды эти получены в Идее и она же «...устанавливает своего рода переключку между расходящимися рядами» [там же, С.335].

В таком случае получается, что идея прошлого как историческое а priori, архив, который «...отличен от нашей актуальности, от настоящего...» [128, С.131], формально законодательствует в процессе генерации высказываний о прошлом. Последние интегрируются, группируются в ряды, которые, в свою очередь, представляют «развертку» во времени структуры идеи прошлого. Таким образом, из виртуальной реальности идеи прошлого синтезируется феноменальная реальность, которая дискурсивна и служит – в качестве исторического поля – опорой, которую использует описательное историческое знание. Именно эта феноменальная реальность становится объектом наблюдения в качестве «настоящего прошлого», актуального единства, позволяющего введение концептов, объяснительных стратегий и способов описания. Что же касается времени, которое вводит динамизм в идею прошлого, то оно играет инструментальную роль и, как отмечает Бродель, «...в его хронологической непрерывности не соблюдается, а используется в качестве средства при наблюдении» [23, 2, С.7].

Наблюдение как своего рода «исторический метод», исследовательский инструмент, лишний раз подчеркивает специфику общения с прошлым. «То, что нельзя наблюдать прошлое является логической истиной, – напоминает Данто – однако разница между логической и фактической ненаблюдаемостью никак не сказывается на современной практике исследо-

вания» [44, С.96]. Историк имеет дело с тем, что фактически наблюдает, т.е. с некоторой очевидной феноменальной реальностью, позволяющей ему говорить о том, что «было в действительности». Действительным в данном случае выступает историческое поле, – «...на нем может находиться только то, что действительно произошло» [30, С.20], поясняет Вен, – и параметры этого поля задаются множеством рядов высказываний о прошлом. В свою очередь, параметры рядов задаются метрикой идеи прошлого. Какое-либо «отношение» прошлого самого по себе и исторического поля как настоящего прошлого не может полагаться как логическое. Нелепо полагать, что исторические описания логически следуют из содержания исторического поля, и тем гарантируется профессиональная строгость исследования. «Историки не должны рассуждать как заправские логики...» [127, С.50] – замечает Л. Февр.

В итоге мы сталкиваемся с известной ситуацией, когда, «...то, что называется знанием о прошлом, логически независимо от самого прошлого» [44, С.80]. Комментируя это заявление Б. Рассела, Данто делает отсылку к некоторым аспектам философии Д. Юма, с учетом положений которой можно констатировать, что в основе понятия причинности (а, следовательно, движения во времени с неизбежным разделением на «прошлое» и «настоящее») лежат определенные ассоциации с тем, что «действительно происходило». Скептический аргумент (восходящий, как минимум, к Сексту Эмпирику) гласит, что гипотеза об отсутствии прошлого логически не невозможна; точнее говоря, гипотеза о том, что нечто действительно происходило в прошлом, и гипотеза о том, что никакого прошлого не было, равноправны с точки зрения их логического статуса.

И в то же время, как утверждает Анкерсмит, «...знание прошлого и знание социальной реальности выражается в серии единичных высказываний» [3, С.89]. Это значит, что существует определенная форма выражения знания о прошлом – ряды (или серии) высказываний (или фактов), определенным образом обусловленная не прошлым самим по себе, но мыслимой

идеей прошлого. При этом ряды, задающие историческое поле, получают- ся из идеи прошлого не логически необходимо, а благодаря действию ритмического механизма актуализации этой идеи, в результате чего можно заключить, что метрические параметры исторического поля *аналогичны* метрике идеи прошлого.

Безусловно, в данном случае мы не касаемся каких-либо содержательных аспектов высказываний о прошлом или критериев истинности таких высказываний. Речь идет о том, что, по нашему убеждению, текстура исторического поля создается по аналогии со структурой идеи прошлого и механизмом этого аналогического «переноса» служит ритм. Причем аналогию в данном случае следует понимать с учетом кантовской трактовки различия между математической и философской аналогией. Последняя устанавливает «... равенство двух не *количественных*, а *качественных* отношений...» [61, С.147] из которых первое отношение есть отношение между известными элементами, а второе – отношение известного элемента к неизвестному. Из этого, говорит Кант, есть возможность вывести не сам неизвестный элемент, но отношение к нему, которое есть и правило его поиска, и признак, по которому он может быть опытно найден. Кант, однако, применяет это правило к такому случаю, когда «...мы мыслим нечто такое, о чем мы понятия не имеем, каково оно само по себе, но отношение чего к совокупности явлений мы мыслим как аналогичное отношению явлений друг к другу» [там же, С.402-403].

Но мы считаем, что можно предложить и такой вариант аналогии, согласно которому взаиморасположение высказываний о прошлом в определенном ряду исторического поля сходно взаиморасположению элементов идеи прошлого в определенном измерении идеи. Другими словами, ритм актуализации идеи прошлого в аспекте одного из ее измерений «переносит» порядок соотношений между различными элементами идеи – в порядок соотношения членов одного из рядов, участвующих наряду с подобными рядами, в формировании исторического поля. Тогда, не отступая

от определения Делеза, поскольку идея прошлого – это множество с бесконечным числом измерений, актуализация этой идеи в каждом из ее измерений дает бесконечное множество рядов исторического поля. Причем каждый подобный ряд в порядке размежевания своих членов повторяет порядок размещений элементов идеи прошлого, полученный в ракурсе какого-либо из измерений идеи.

Конечно, используя аналогию, мы не преследуем цель Канта, заключающуюся в том, чтобы по праву установить «...совершенное сходство двух отношений между совершенно несходными вещами» [62, С.181]. Мы стараемся подчеркнуть отсутствие какого-либо обязывающего логического следования от идеи прошлого – к историческому полю, понимая аналогию как формальную соразмерность, которая в этом своем значении смыкается с понятием соразмерности как ритмичности. Образно говоря, историческое поле получается из идеи прошлого путем «обходных маневров»: это своего рода искусство выстраивания разнообразных рядов, каждый из которых повторяет структуру идеи прошлого в одном из ее измерений. Поэтому можно говорить о том, что метрика прошлого параметризует историческое поле; параметры рядов, задающих это поле, в буквальном смысле являются пара-метрами, т.е. производными от метра – не затронутой динамикой структуры идеи прошлого. Или – что то же самое – каждый ряд представляет собой неповторимый ритм, относящийся к структуре идеи прошлого как к «своему» метру. За счет подобного обращения, в котором проявляется регулятивная функция идеи, ни одно из возможных ритмических решений – т.е. рядов – не имеет какого-либо приоритета перед другим. По словам Вена «количество рядов бесконечно, между ними нет иерархических связей...» [30, С.33], что полностью согласуется с упомянутым выше делезовским пониманием коммуникации между рядами как задаваемой Идеей.

Воспользовавшись тем же языком, продолжим: различия между элементами идеи прошлого повторяются – на разный манер, в разных ас-

пектах, ракурсах, измерениях – в рядах высказываний о прошлом. И если, по словам Делеза, «...различия всегда подобны, аналогичны, противоположны или тождественны...» [49, С.79], то повторение всегда подразумевает мерность и ритмичность [там же, С.36-37]. Понятие меры отсылает нас, во-первых, к измерениям идеи прошлого, актуализирующимся в ритмах рядов, составленных из фактов (или высказываний) о прошлом. Во-вторых, понятие меры напоминает о том, что область идеи прошлого и историческое поле являются разными измерениями, но это не исключает их аналогической (т.е. ритмической) со-размерности (сим-метричности). Т.е. при логической автономии этих двух измерений между ними может происходить формальное сообщение, когда, как замечает по такому поводу Деррида, «то, что происходит в таком случае, то, что передано, сообщено, не является феноменом смысла или означивания» [55]. Наконец, в-третьих, понятие меры наводит на мысль о том, что фактические элементы исторического поля могут пониматься в манере, свойственной научным дисциплинам, – т.е. как исчисляемое, измеряемое. На языке Аристотеля это значит, что к фактам относятся те феномены, которые подлежат категории количества, т.е. генетически связаны и с речью (на минимальном уровне высказывания), и с числом. Поэтому, несмотря на то, что понятие факта в истории всегда «недостаточно прояснено» (Данто), необходимость оперировать фактами в конкретных исследованиях склоняет практикующих историков к определенному уровню позитивизма. (Достаточно вспомнить «счастливого позитивиста» Фуко или «структуралиста по темпераменту» Броделя, сторонника разумного позитивизма).

Исходя из вышесказанного, нам необходимо проанализировать историческое поле на предмет составляющих его элементов, способов их организации и средств, с помощью которых историческое поле разворачивается перед нами и как фактическая данность, и как условие осмысления того, что дано. Другими словами, следует осветить ритмическую конституцию исторического поля.



### **2.2.1. Конституция исторического поля**

Историк имеет дело с историческим полем как с областью действительного и подвергает описанию то, что наблюдает в этой действительности. Он продуцирует историческое знание (оно по определению является описательным), т.е., как бы ни резала слух тавтология, историк пишет историю, которая «...по сути своей, есть знание, основанное на источниках» [30, С.9]. При этом следует отдавать себе отчет в том, что историк «...работает с источниками... но они сами по себе не являются прошлым» [3, С.31]. Два дополняющие друг друга определения историка и философа – Вена и Анкерсмита – кратко очерчивают проблему исторических источников, неотделимую от имеющей столь же долгую историю проблемы исторических фактов.

Эти проблемы возвращают нас к анализу того, что понимается под историческим полем, равно как и дальнейшему прояснению вопросов, связанных с рядами (сериями), задающими историческое поле. Принципиальным является то, что, с одной стороны, историческое поле не является непосредственно данным, – оно создается активностью исследователя, т.е. конституируется. В этом смысле оно субъективно и нуждается в объективизации. С другой стороны, текстура исторического поля аналогична структуре идеи прошлого, которая в определенном смысле дана. Поэтому мы вправе предположить, что историческое поле, взятое в единстве, представляет собой со-держание данных, использующихся в историческом исследовании прошлого. Со-держание данных следует понимать как композицию элементов исторического поля – высказываний о прошлом, организованных в рядах. Композиция же в целом определяется материалом исторического поля, подведенным под тот вид единства, которое «применено» субъектом к историческому полю, т.е. таким единством, в котором действительность «схвачена» как актуализированная идея прошлого. Таким образом, от того, какой концепт единства применяется к историческо-

му полю, зависит то, что описывается в дальнейшем как «бывшее в действительности», т.е. те типы исторических объектов, которые именно в этой действительности фигурируют.

Здесь следует отметить два момента.

Во-первых, как резонно замечает Анкерсмит, «обладание некоторым единством и связностью есть свойство вещей...», однако «единство и связность не есть свойства прошлого...» [2, С.208]. Именно субъект, историк является связывающей и объединяющей инстанцией по отношению к той совокупности материалов, которая бессвязна и никак не объединена. Если считать, что единство навязывается прошлому самому по себе, то это означает применение категории единства к тому, что не имеет сущности. Следовательно, под эту категорию может подводиться лишь некоторое совокупное множество высказываний о прошлом, которое, будучи осмыслено как единство, представляет собой некоторое «действительное положение вещей». При этом именно историк конструирует и именуется те *вещи*, которые впоследствии фигурируют как исторические факты и исторические объекты.

Но тогда, во-вторых, нам следует принять то, что множество высказываний о прошлом некоторым образом есть как до-концептуальное поле (Фуко), которому впоследствии сообщается тот или иной вид концептуального единства. Другими словами, нам следует различать 1) единство высказываний о прошлом в организующих их рядах и 2) единство, налагаемое как концепт на множество рядов высказываний, т.е. на историческое поле в целом.

По-видимому, близкую позицию отстаивает Фуко в «Археологии знания», анализируя функции высказываний и пытаясь добраться до «простой записи». Высказывания, полагает он, в своем нефункциональном состоянии могут быть объединены в ряды, и для такого своего существования они нуждаются «...только в материальном отношении – в видимости, в записи, в звуковом материале, обрабатываемом материале, глубоком срезе

следа» [128, С.97]. Но такой вид единства, даже будучи непосредственно воспринимаемым, остается сугубо формальным, такие ряды имеют место как чисто статистические. Они не могут иметь значения в качестве осмысленных предложений, потому как представляют собой не более, чем «...последовательность цифровых символов, не связанных между собой никакой синтаксической структурой» [там же, С.87]. Одним словом, Фуко недвусмысленно заявляет о том, что он предпринимает попытку «...обойтись без всяких вещей...» для того, чтобы выявить системы «...регулярной формации объектов...», [там же, С.48] которые очерчиваются только в дискурсе.

Таким образом, можно утверждать, что мы сталкиваемся с множеством высказываний, интегрированных в ряды, которое представляет собой некое единство без вещей или, точнее, единство, предшествующее возникновению какого-либо единого «положения вещей». В то же время, любая последовательность, элементы которой даже не связаны синтаксисом, тем не менее, грамматична. Это значит, что в ней наблюдается порядок следования элементов (порядок чередования наличия элементов и их отсутствия), т.е. простейший ритм. Но поскольку такие ряды высказываний, согласно мнению Фуко, нефункциональны, то они служат лишь «материалом» формирования действительности – той действительности, которая, как было сказано выше, описывается историком как «действительное положение вещей».

Подобный вывод приводит к необходимости рассматривать историческое поле как конституирующееся поэтапно, и обозначить в этом процессе – с высокой степенью условности – два этапа. Своего рода «подготовительный» этап заключается в интеграции единичных высказываний о прошлом – в ряды таких высказываний, которые выступают в качестве фактического материала для будущих исторических описаний. В ходе второго этапа происходит концептуализация имеющегося единства рядов, т.е. «исполнение» установленного фактического материала в определенном

ключе теми или иными способами. Как замечает в диалоге с Анкерсмитом С. Кроуэлл (Crowell), «...ни хроника, ни архив, ни вывод исторического исследования не являются адекватной формой исторического знания», т.е. они есть лишь результат искусства обработки источников. Поэтому – продолжает Кроуэлл, – «...для исторического знания необходим момент синтеза, который связывает факты в не редуцируемом к самой структуре фактов порядке» [175].

Следовательно, историческое поле в целом должно иметь более сложную – по отношению к его фактическому основанию – структуру. Но – что также очевидно – фактическое основание исторического поля определенным образом отвечает числу исторических источников, а значит, мы имеем не полный хаос, или агрегат «идиотических», как выражался Кант, фактов, а примитивно сконструированную действительность. Исподволь используя кантовские термины, можно сказать, что вслед за «пассивным» синтезом действительности, интегрирующим высказывания в ряды, должен последовать активный синтез исторической реальности. Упомянутый «пассивный» синтез взят в скобки неслучайно: по сути дела под ним понимается установление фактического материала, которое утверждается концептуально, и именно следующее за установлением утверждение подчеркивает «задним числом» активный характер самого установления. В противном случае в нашем распоряжении рискует остаться лишь упорядоченность высказываний, не подвергнутая никакой оценке; т.е. некоторая схема источников, ритмическая фигура, демонстрирующая распределение во времени общего числа свидетельств.

Как замечает Вен, естественную и неизменную структуру фактов «...историк находит уже в готовом виде, как только он выбирает сюжет...», или, по-другому, интригу, однако «...интрига может представлять собой поперечный срез различных временных ритмов...» [30, С.41, 43]. При этом – как можно судить по высказываниям П. Рикера – интрига (как срез ритмов) выполняет функцию их синтетического объединения. Она

выступает в качестве «синтеза разнородного» и в то же время ответственна за «смысловое единство» [107, С.343, 344]. Фиксированная структура фактов может (и, видимо, с точки зрения историка должна) наделяться значением, в то время как факты вне интриги не вызывают особого интереса; с их помощью можно лишь ощутить те или иные ритмы, которые способны спровоцировать выбор интриги. Интрига, в свою очередь, будет диктовать и свою структуру причинности, и свои критерии оценки фактов. Как замечает по этому поводу Кроуэлл, «...оценка принадлежит той интеграции и законченности, которых недостает любому фактическому настоящему» [176, Р.94], но это значит, что примитивный уровень уже представляет собой схему становления того, что может оцениваться и наделяться значением. Подобное расчленение (по сути – расслаивание исторического поля) мы считаем необходимым, интерпретируя предложение В. Никитина «...употреблять для обозначения истории как последовательности событий в прошлом термин «историческая действительность» [90, С.21-22], а знание об этой действительности именовать «историческая реальность». В нашем случае можно заключить, что фактическая действительность демонстрирует временные ритмы, а знание об этой действительности требует реальных интриг.

Результат синтеза в целом – историческое знание – это концептуальное повествование об определенном фрагменте действительного прошлого, т.е. исторический дискурс. Согласно точке зрения Уайта основной принцип последнего заключается в том, что, отталкиваясь «...данного набора событий, устроенного более или менее хронологически...», он предлагает «...принять определенные условия коммуникации, т.е. конвенции практики общения с дискурсом, задаваемые введением понятий фактов, отношений и интерпретации» [207, Р.54-55].

Для того чтобы выяснить механизм образования «конечного» исторического продукта, кратко ответим на вопрос: что есть историческое поле под разными углами зрения.

Историческое поле представляет собой некое мыслимое единство. Исходя из этого положения и с оглядкой на Аристотеля, для которого «...единое означает меру...» [5, С.351], мы вправе ожидать, что историческое поле в своей конституции обладает определенной размерностью.

Историческое поле в своей основе задается как произведение некоторого числа различных рядов. Логично предположить, что эти ряды могут быть разного вида: сходящиеся, расходящиеся, параллельные, пересекающиеся. Любой факт входит в какой-либо ряд, всякий ряд подразумевает организацию его членов, их упорядочение; «каждый ряд, – по словам Делеза, – образует историю...» [49, С.156]. В связи с этим весьма органично выглядит заявление Анкерсмита о том, что «...историческое знание не является знанием в собственном смысле этого слова; его лучше охарактеризовать как *упорядочение* знания» [3, С.349].

Историческое поле как действительность, описываемая в историях, конституируется историком. Эта точка зрения вводит определенный ракурс понимания «фактов». С практической точки зрения историка (которой придерживается Вен), в нашем настоящем «...всякий факт... есть след некоего события...» [30, С.30-31]. С «технологической» точки зрения философа науки (лаконично озвученной Р. Розенстоуном (Rosenstone)) «факты» – это «... следы, остатки прошлого, которые мы выбираем из большого числа подобных следов и составляем внутри аргумента или дискурса» [195, Р.183]. Без сомнения, последнее определение отсылает к двум ключевым моментам конституции исторического поля: 1) упорядочению материалу (в качестве которого выступают следы прошлого, понимаемые как факты) и 2) способам его «вторичного» упорядочения (практике сочетания фактов для описания конституируемой действительности).

Наконец, историческое поле – это поле решений идеи прошлого, и поскольку, согласно Делезу, «математика начинается с полей решений...» [49, С.224], мы можем и применять для анализа исторического поля язык математики, и ожидать работу в этом поле математической аналогии.

Из вышесказанного следует, что нам необходимо поднять вопросы о метрике, топологии и возможной параметризации исторического поля, а также о выборе форм и способов описания этого поля, при помощи которых разнородные элементы сводятся воедино в историческом тексте.

### **2.2.2. Ритм источников как результат типологии следов прошлого**

Говоря языком математики, ряд – это последовательность элементов некоторого линейного топологического пространства; бесконечная сумма. Что представляет собой формальное единство членов ряда? Поскольку ряд – это всегда порядок, в котором его члены следуют один за другим, и в их последовательности выдерживается установленное числовое соотношение, то ряд – это размеренная последовательность гомогенных элементов, т.е. элементарная ритмическая конфигурация. Ряд подразумевает интеграцию составляющих элементов, но и само включение в ряд означает предварительную сепарацию: выбор из множества имеющихся элементов – подмножества элементов, которые объединены по определенному критерию. Подобный выбор по критерию есть ни что иное, как дифференциация множества при помощи введению *типа*, т.е. создание формальных единств по типу элементов.

Мы уже делали вывод о том, что введение типологии следует отнести к факторам актуализации идеи прошлого, поскольку всякая типология драматична (Делез). Впрочем, всякая типология и необходима, и недостаточна с точки зрения истории. «История, – как определяет Делез – это классификация типов...» [48, С.65], а значит ни одна типология не может быть единственной, и никакое число возможных типологий не может быть конечным. Такое положение дел прекрасно известно историкам, непрестанно решающим проблему типичного, а следовательно, и проблему повторяемости в истории. По мнению Вена, есть разница между применением понятия типа к историческим событиям и к высказываниям о прошлом вообще. Он отмечает, что, с одной стороны, «исторические события...

лишь в небольшой степени сводятся к определенным типам» [30, С.78]. С другой стороны, «...ретродикция, основанная на выделении серии...» [там же, С.18], есть «...нечто весьма эмпирическое...» [там же, С.184] и подразумевает какую-то типичность. О необходимости типологии, равно как и об абсурдности претензий на исчерпывающую и единственную типологию говорит и Бродель. Предваряя свой анализ, он признается, что пробует создать своего рода всеобщую историю, что – другим языком – означает «...построить типологию, или модель, или даже грамматику... Однако без того, чтобы упомянутая *всеобщая история* претендовала на совершенную точность; без того, чтобы предлагаемая типология была всеохватывающей, а тем более – полной...» [23, 2, С.5].

Можно сказать, что типология – это тот грамматический минимум языка, который гарантирует определенный онтологический статус – через принадлежность к типу – элементам, составляющим множество идеи прошлого. Эти элементы подчинены лишь начальным условиям возможности феноменального бытия, – они скоординированы, т.е. датированы, и различаются согласно своей датировке. Интерпретируя мысль Делеза, следует сказать, что идея прошлого – как множество – бесформенно; оно есть в некотором смысле «материя», требующая оформления путем актуализации. Различие, лежащее в основе этого множества, определяет его топологию, но также и подразумевает типологию как способ принятия множеством определенных форм [47, С.253], поскольку «подлинное различие» есть «трансцендентальная типология» [там же, С.96].

Историческое знание нуждается в исторических фактах, но последнее есть, по сути, выводы из предложений о прошлом, результаты ретродикции. Предложения основываются на единичных высказываниях, объединенных в ряды (или серии). В свою очередь ряды строятся путем применения типологий, отслеживающих изменение специфического. Именно в этом аспекте следует понимать утверждение Броделя о том, что история занимается поиском «закономерностей изменения специфического», или



аналогичное суждение Вена о том, что историческим является все специфическое, т.е. «исторично то, что не универсально, и то, что не неповторимо» [30, С.74]. Специфическое означает не уникальное (исключающее самому возможность сравнения себя с чем-либо того же рода, поскольку само исчерпывает свой род), но различное одного рода. При этом всякий специфический элемент можно и отнести к разным родам, и подвести под разные типы.

Вен однозначно утверждает, что тип субъективен и поверхностен, и что соответствовать типологии – то же самое, что и вписываться в ряд [там же, С.210]. Субъект, актуализирующий идею прошлого «на свой лад», применяет типологию как инструмент, с помощью которого строит ряды. В связи с этим уместно звучит замечание Эко: «выстроить в ряд – значит определенным образом повторить» [148, С.57]. Элементы какого-либо ряда различны, но объединение их в одном ряду сообщает им эквивалентность в качестве членов этого ряда. Из этого можно заключить, что повторение, в данном случае, в ряду, – есть повторение типа элементов. Кроме того, как было показано выше, каждый ряд сам по себе – повторение диспозиции элементов идеи прошлого в развертке одного из ее измерений. На языке математики это значит, что идея прошлого как нелинейное множество (пространство прошлого) потенциально есть произведение бесконечного числа линейных множеств (рядов высказываний о прошлом) и потому может быть «разложено» на составляющие его ряды, каждый из которых представляет идею прошлого в одном из ее измерений. И, следовательно, каждый ряд – это одна из бесконечных линий, одно из действительных измерений, воплощение одного из ритмов актуализации этой идеи; в ряду единичные высказывания о прошлом, объединенные по какому-либо типу, образуют материальную основу этого ритма.

Можно сказать, что ряд представляет последовательность элементов фиксированного типа, в котором повторение типического происходит закономерным образом. Это значит, что в ряду соблюдается правило его по-

строения, т.е. пропорциональность между членами ряда, позволяющая вычислять отсутствующий член по аналогии или экстраполировать ряд тем же способом за те пределы, в которых он эмпирически засвидетельствован. Другими словами, между членами ряда наблюдается определенное *количественное* взаимоотношение. Однако для того, чтобы произвести переход от бесконечных рядов высказываний – к описываемым в истории событиям, любой ряд необходимо ограничить, о-пределить. Это значит – хронологически очертить (навязать) некоторый промежуток времени, выделить его как фрагмент на абсолютной временной оси. Уайт подчеркивает, что начальной стадией исторического повествования является момент, «...когда историк выделяет для анализа некий фрагмент прошлого...» [125, С.158], т.е. момент выделения *определенной* области из *неопределенной* среды, представляющей настоящее прошлое. Наличие датированных пределов («начал» и «концов»), т.е. конкретная локализация рядов во времени наблюдения, позволяет говорить о событиях как об эффектах, появляющихся в пучке этих рядов, каждый из которых является источником для этого события.

Как подчеркивают Савельева и Полетаев, «очевидно, что масштабы периода, избранного историком для исследования, определяют калибр значимых для этого периода событий» [113, С.159]. Аналогично и Вен настаивает на том, что события «...не имеют естественной цельности...», что они – не самостоятельные сущности, «...не вещи, не самостоятельные объекты, не субстанции...» [30, С.48]. Преследуя и дальше эту мысль, мы вынуждены согласиться с тем, что для конструирования каких-либо анализируемых в дальнейшем событий нам необходимо иметь в своем распоряжении набор *полных* рядов. Это значит: некоторое число не имеющих пробелов рядов, образующих оперативное пространство исследуемого прошлого, отграниченное от безграничности «всего» актуального прошлого. Поэтому в случае, когда на выделенном временном интервале какой-либо ряд оказывается неполон, т.е. содержит лакуны, историк обращается к анало-

гии [там же, С.153], «вычисляя» отсутствующие члены ряда по известной пропорции (формуле ряда).

Следует заметить, что выбор размера фрагмента прошлого (границ учитываемых рядов, масштаба исследования) необходим для установления конкретных количественных отношений. Вычисление отсутствующих элементов возможно только в том случае, если формула ряда берется как константа. В случае, если ряд не ограничен, а следовательно, открыт для прибавления очередных членов, формула ряда может изменяться с добавлением каждого следующего члена, автоматически меняющего масштаб. При хронологическом ограничении ряда он представляет собой закрытое множество, подчиняющееся конкретному измерению, т.е. он является структурой, сохраняющей «внутреннюю» симметрию (соразмерность).

Анализируя «Различие и повторение» Делеза, В. Конев делает в этом плане два примечательных заключения: 1) ритм – один из видов симметрии, который «...прямо и непосредственно предъявляет повторение» [66] и 2) в любом типе повторения различие, внутренне присущее Идее, есть «не-концептуальное различие». Исходя из этого, можно еще раз подтвердить, что ряды – различные повторения идеи прошлого. И что между идеей прошлого как множеством – с одной стороны, и множеством рядов высказываний как до-концептуальным полем (Фуко) – с другой, существует определенная симметрия, т.е. метрическая аналогичность. Другими словами, мы хотим сказать, что топологии идеи прошлого адекватна топология рядов, а следовательно, ей же адекватна и топология до-концептуального поля как формального условия и «материала» поля исторического в целом.

Таким образом, ритм является как «образующей» ряда, выступающего в роли источника, так и фактором, образующим сам ряд как предъявление одной из линий актуализации идеи прошлого. Но чем является сам ряд для исторического исследования?

Из процитированного ранее утверждения Анкерсмита следует, что знание прошлого выражается в рядах, что можно истолковать следующим

образом: ряды есть та форма организации высказываний о прошлом, которая делает знание прошлого возможным, однако это не значит, что знание о прошлом непосредственно содержится в рядах. Высказывания сами по себе являются бессвязными, составляемые в ряду они представляют своего рода перечень элементов одного типа, а всякий ряд как классификация по типу, в принципе, бесконечен. Такова картина на уровне «простой записи», т.е. на уровне синтаксически не структурированных последовательностей; этот уровень Фуко определяет как поле, в котором возможен исторический анализ высказываний, «...который, тем не менее, остается вне любой интерпретации» [128, С.109]. В этом поле может наблюдаться своего рода «глоссолалия фактов» (высказываний), т.е. наличие ритмической структуры высказываний, обусловленных идеей прошлого, при отсутствии семантического измерения. Также можно сказать, что это поле вычерчено линиями дискурсов, но, как замечает Вен в связи с точкой зрения Фуко, «...дискурс, скорее, отрицает семантику» [30, С.385]. Более того: если проводить, – как советует В. Мароши – анализ латинских контекстов, в которых обретается «дискурс», то становится очевидным, что основной сферой использования этого глагола были различные формы бесцельного движения. Дискурс есть одновременно движение и круговорот, мелькание, бегание туда и сюда; «приставка «dis», обозначающая разделение, разъединение, расчленение, придавала глаголу движения аспект разнонаправленности, лишало его «энтелехии» (куда?)...» [84]. Другими словами, дискурс в своем традиционном значении представляется как динамическое единство разъединяющегося. Это одновременное движение в противоположных направлениях без цели, колебание «на месте» есть в чистом виде неотъемлемая атрибутика ритма. Такое «свойство» дискурса – замечает И. Ильин – хорошо известно некоторым разновидностям деконструктивизма, в рамках которых исследуются «...дискурсивные практики как ритмические конструкции...» [58, С.78]. Без устанавливаемых путем введения концепта правил связи и направления (т.е. без установления, в том числе, и конкретных

временных пределов) это поле, будучи потенциальным вместилищем смыслов, не имеет значения как исторический источник. Именно это поле, вычерченное *ритмами дискурсов* (исходя из вышесказанного это словосочетание должно быть расценено как тавтология), и имеет в виду и Уайт, ведя речь о том «примитивном» и «прозаическом» уровне хроники, на котором высказывания о прошлом хронологически упорядочены, но еще не поэтизированы, т.е. не включены в связное и складное повествование, подчиненное логике и метрике выбранного способа выражения.

Уайт не скрывает, что интерпретирует ряд мыслей И.Г. Дройзена, когда говорит о хрониках как о своего рода материалах, «...до какой-то степени упорядоченных в предварительной форме...» [124, С.314], на основании которых историк способен что-либо *действительно* сделать. По его мнению, такого рода материал – не историческое сочинение, но уже некая интеграция, организация на грамматическом, но еще не на синтаксическом уровне. Из этого он делает вывод, что хроника – это историографический дискурс, который «...жестко ограничен простым именованием объектов, составляющих историческое поле...», который «...только расставляет их (объекты исторического поля – М.Ш.) по временной оси в порядке их появления на этом поле...» [там же, С.318]. Очевидно, что, Уайт описывает тот же самый уровень «простой записи», который постулирует и Фуко, тот же самый уровень (у)становления элементов исторического поля в и расстановку их в рядах, тот же самый план, на котором «...мы находим стигматы прошлых событий...» [129, С.108], подверженные анализу, но предшествующие практикам интерпретации. Концептуальному изложению того, что было в действительности, предшествует некоторое действительное положение вещей, которое, в свою очередь, утверждается на основании устанавливаемого дискурсивного поля («хроники»).

Таким образом, на самом «нижнем» уровне исторического поля мы сталкиваемся с его «материальной подкладкой» (Фуко называет ее «телом»). Она определяется как 1) множество резонирующих рядов (Делез), 2)

совокупность хроник, представляющих синхроническую структуру поля (Уайт), 3) система перекликающихся дискурсов, ведущих «простую запись» (Фуко). Безусловно, все три приведенные определения говорят об одном и том же: они отмечают уровень становления действительности, которая – путем интерпретации в соответствии с той или иной концептуальной стратегией – претворяется впоследствии в положение вещей, имеющих историю, или, по крайней мере, в положение вещей, которые *могут* иметь историю. Такое утверждение согласуется с принципиальным различием становления и истории, на котором настаивают и Делез, и Вен. Такое понимание находится в русле соображений Уайта относительно уровня хроник, т.е. последовательностей «...частных фактических констатаций, существующих разрозненно...» [125, С.160]. Наконец, такая точка зрения продолжает мысль Фуко о том, что «...поверхность, где записываются события...» [129, С.109] *сочленяется* с историей.

Поэтому нам следует ответить на комплексный вопрос: что представляет собой и что «производит» поверхность становления, которая равным образом дистанцирована и от идеи прошлого, и от исторического повествования? А также: каков механизм сочленения поверхности становления и истории?

### **2.3. Становление как (пред/до)история**

Присоединяясь к требованию различать историю и становление, можно повторить: конституированному историческому полю предшествует доисторическое (до-концептуальное) поле. Это уровень (или, точнее, идеальная поверхность), на которую наносится «простая запись», свидетельствующая о процессе становления. Это «место», где, по словам Делеза, «...виртуальное становится актуальным...» [48, С.92], где работают ритмы становления, повторяющие на все лады структуру идеи прошлого, и производящие тем самым новые высказывания о прошлом. Поверхность становления – «место/пространство», где выстраиваемые высказываниями ря-

ды вибрируют, резонируют, перекликаются и создают неопределенную среду, из которой могут – путем именований и определений – выступать вещи, т.е. события, о которых может идти речь в историях. Таким образом, ритмы актуализации прошлого в настоящем «живут» в онтологическом зазоре между идеей прошлого – и историческим полем; воплощением собственно ритмов оказывается поверхность «чистого становления», которую они создают ветвящимися рядами «простой записи».

Выше мы говорили о том, что область идеи есть область, в которую только в ходе актуализации происходит привнесение времени, выполняющего инструментальную функцию хронологического упорядочения материала. Хронологически ограниченные ряды своим произведением задают «тело» исторического поля, которое мы определили как поле «фактическое» и до-концептуальное. Однако такое определение этого уровня не дает ответа на резонный вопрос: каким образом расположение рядов вызывает «положение вещей», о котором повествуют истории? Ведь очевидна разница между событиями, о которых утверждается, что они «произошли в действительности», и высказываниями (фактами), которые конституируют эту действительность, сообщая ей специфическую характерность. Если события – это «не самостоятельные сущности» (Вен), то тогда единичные высказывания логично определить как самостоятельные не-сущности. И если в историях идет рассказ о вещах, то на уровне, предваряющем (и делающем возможным) такой рассказ, должно быть обеспечено становление самих этих вещей.

В исследовании Родина проблема появления вещей и истории этих вещей решается, также, с акцентом на актуализацию виртуального. Делая отсылку к семантике средневеково-латинского «virtual», автор предлагает рассмотрение специфического процесса «перехода» виртуального как не-названного и нефактического, но производящего эффект, – в актуальное. Для этого он вводит понятие «виртуальная вещь». По сути, это «неродившаяся вещь», нечто без рода, т.е. среда неопределенности, апейрон. «Вся-

кая вещь, о которой рассказывается история, имеет свое «до» вне истории» [109, С.128], – утверждает Родин, – из чего можно сделать вывод, что всякая «историческая вещь» есть актуальный поименованный эффект актуализации виртуальной вещи. Это следует понимать в русле разделения двух видов прошлого, которое предлагает автор: в историческом прошлом находятся вещи, о которых повествует история, а доисторическое прошлое является абсолютным по отношению к относительному историческому прошлому. При этом «...виртуальная вещь располагается в доисторическом прошлом всякой исторической или наличной вещи» [там же, С.129] и появление последней обусловлено событием, эффектом рождения в языке.

В таком случае мы можем утверждать, что «эффективная» поверхность становления есть стартовый «уровень осуществления» идеи прошлого. На нем происходит превращение виртуального множества элементов идеи – в актуальную доисторическую среду не-сущностей, в хронологически упорядоченную уплощенную схему скоординированных не-вещей. В определенном смысле этот уровень представляет собой сетку энергетических пульсаций, временных ритмов, с которыми всякая пишущаяся история вступает в отношения, но никогда не повторяет полностью. Для пояснения сказанного весьма уместно проведение параллели между музыкальным и историческим произведением. Степень уместности повышается, если принять во внимание следующие два замечания. Первое, – анализ музыки Лосев сопровождает предложением понимать ее как совмещение эйдоса и апейрона [76, С.275]. Второе, – как пишет В. Холопова, музыка не является буквальным озвучиванием всех акцентов и «очень редко основная сетка ритмической пульсации полностью совпадает с реальным музыкальным звучанием...» [137, С.69]. Подобным же образом можно сказать, что история не фиксирует ритмы становления, а описывает становление, при этом отличаясь от полной фантазии тем, что она не абсолютно произвольна, а вынуждена *считаться* с теми высказываниями о прошлом, которые устанавливаются на основании исследования источников. Тем самым сле-



дует признать, что независимо от формы исторического повествования, выбранной для него интриги, целей, преследуемых историком, объем представляемых в историческом тексте утверждений о прошлом не превышает объема информации, предоставляемого источниками. Как говорит Вен, «...историю нельзя заставить рассказать больше того, что есть в источниках...» и вследствие того, что информативность исторического письма *количественно* зависит от источников, историку остается писать «...в неровном ритме, соответствующем неравномерной сохранности следов прошлого...» [30, С.23].

Прошлое как беспредельная виртуальная вещь представляет собой образуемый ритмически неклассический топос (точнее – «неразвитый» топос или весьма развитую поверхность), своего рода «уплощенную прокладку» между идеей прошлого – и прошлым как настоящей вещью. Такая схема, повторяя в общих чертах платоновскую онтологию, согласно которой выполняется числовое соотношение между идеями и вещами, имеет от нее принципиальное отличие в том, что касается источника (или даже виновника) нормативной соразмерности идеального и вещного. Получая из идеи прошлого прошлое как вещь в волевом акте драматизации идеи, мы выбираем в качестве «ракурса» актуализации из множества измерений идеи всякий раз какое-то одно, и следовательно, мы сами устанавливаем всякий раз другой норматив симметрии идеи и вещи, исходя как из метрики идеи, так и из особенности выбранного измерения идеи.

Специфика «общения» с прошлым состоит в том, что всякий акт драматизации идеи прошлого представляет собой прошлое по отношению к последующему акту. А это значит, что с каждой очередной актуализацией идеи прошлого происходит изменение ее как множества. Изменение топологии множества приводит к изменению спектра применимых к нему типологий, поскольку, как отмечает Делез, «...типология начинается с топологии» [47, С.219]. В результате получается, что с каждым очередным шагом (разом, циклом) актуализации мы имеем дело со всякий раз иной

структурой идеи прошлого, обуславливающей всякий раз иные «правила игры» и возможности – т.е. всякий раз иной набор своих измерений и всякий раз иные ритмы актуализации. Другими словами, мы сталкиваемся с ситуацией, в которой не имеем возможности вести речь ни о постоянстве структуры идеи прошлого, ни о безусловном наборе способов ее актуализации.

Движение границы прошлого исключает понятие идеи прошлого, как фиксированного множества с неизменным набором элементов и постоянным числом измерений, обуславливающим конечное число способов актуализации. В каждом акте обращения к прошлому, мы имеем дело не с одним и тем же прошлым, а с тем, что является прошлым на этот момент. Образно говоря, то прошлое, которое предшествует тому прошлому, с которым мы имеем дело на текущий момент, легко может быть названо «прошлым прошлым». Прошлое, к которому идет обращение, в каждый момент конкретно, но в череде «моментальных прошлых»  $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$  (где  $P_n$  – прошлое, соответствующее порядковому моменту обращения к нему  $n$ ) нет тождества этих моментов. Последнее с необходимостью вытекает из обобщенного постструктуралистского тезиса, который формулирует Робертс на стыке позиций Фуко и Деррида: нет такой вещи как «история» – историю можно мыслить лишь исходя из прерывности и становления [196, Р.5]. Этот тезис подкрепляется уверенностью представителей новой философии истории (в частности, Анкерсмитом) в том, что прошлое не имеет сущности, и только «...исторический нарратив есть *вещь* в собственном смысле слова» [2, С.193]. Наконец, представления о «моментальности» оперативного прошлого поддерживаются аргументами Делеза, анализ которых привел нас к заключению о том, что идея прошлого есть «область несущностного». Одним словом, отказ от метафизического стремления к неперемennomу настоящему в пользу постмодернистской ориентации на «переменное настоящее» (Делез) фундируется понятием несубстанциального, непостоянного и нетождественного прошлого.

В таком случае нам следует говорить о том, что проблематизация идеи прошлого приводит к столкновению с множеством, каждым членом которого служит идея прошлого. Различие между членами этого множества обусловлено различием наборов элементов  $a$ , следовательно, и различием числа измерений этой идеи. В то же время, каждый член множества появляется последовательно, и шаг этой последовательности – это частота (интенсивность) реальных действий по актуализации этой идеи, отражающая циклический характер этих действий.

Для наглядности это можно проиллюстрировать следующим образом:

—  $Ip_1 (T_1: t_1, t_2, t_3, \dots, t_n)$  —  $Ip_2 (T_2: t_1, t_2, t_3, \dots, t_n)$  —  $Ip_3 (T_3: t_1, t_2, t_3, \dots, t_n)$  —  
 ... —  $Ip_n (T_n: t_1, t_2, t_3, \dots, t_n)$  — ,

где

$Ip_1, Ip_2, Ip_3, \dots, Ip_n$  – множества элементов, образующих идею прошлого на соответствующем порядковом цикле (шаге) актуализации;

$T_1, T_2, T_3, \dots, T_n$  – топологии этих множеств (идей прошлого);

$t_1, t_2, t_3, \dots, t_n$  – множества способов типологизации, определяемые каждой топологией соответственно.

Подобное заключение косвенным образом отсылает нас к заочной полемике А. Данто с Ч. Пирсом, предметом которой было обсуждение вопроса постоянства идеи прошлого. Мнение, высказанное Пирсом, сводится к тому, что «...наша идея прошлого есть в точности идея того, что абсолютно определено, закреплено... и лишено жизни» [98, С.285]. Не соглашаясь с таким определением, Данто резонно замечает, что «...в принципе, всякая вера в прошлое склонна к пересмотру...» и «мы всегда пересматриваем наши верования относительно прошлого и предположить их «установленными» было бы вероломно по отношению к историческому исследованию» [177, Р.148]. Данто не согласен в определении Пирса с косвен-

ной попыткой обосновать не зависящую от субъекта определенность прошлого; с тем, что идея прошлого, если даже и подразумевает некую множественность, то множественность гомогенную.

Лишенное жизни прошлое была бы очевидно в том случае, если бы идея прошлого заведомо рассматривалась в понятиях определенной идеи истории. Телеологическая природа последней осуществляла бы проведение фиксированного будущего через прошлое, а тем самым требовала бы установленного прошлого, т.е. «смерти прошлого» во имя будущего. Такое прошлое подпадало бы под едкое замечание Деррида о том, что «все гомогенно посмертно» [178, Р.18]. Но поскольку гипотетическое и проблематическое прошлое само по себе неопределенно, то гомогенизация – это задача истории, а не ее исходные данные. Идея прошлого представляется ансамблем гетерогенных элементов, который может *становиться* тем или иным образом гомогенным множеством, описание которого и представляет историю. Поэтому понятна позиция Данто, который подчеркивает, что актуализируемое нами прошлое не может полагаться как установленное «раз и навсегда», но будучи *всегда* прошлым, оно всякий *раз* устанавливается определенным образом, допускающим, в свою очередь, определенные способы описывающего понимания. А это означает, что и способы, и формы (у)становления прошлого зависят от реальных действий устанавливающего.

В этом и состоит отличие предлагаемого к анализу прошлого как виртуальной вещи, «заполняющей» провал между идеей прошлого и прошлым, переведенным в собственность настоящего времени, и от платоновской, и от кантовской схемы. Согласно Платону мы должны были бы утверждать, что симметрия идеи прошлого и прошлого как настоящей вещи имеет основание в неизменности идеи-числа, т.е. в ее метрической константе, которая и сообщается вещам в определенных ритмах. Согласно Канту мы бы говорили о границе без толщины, принадлежащей (как «не-что положительное») и области ноуменального, и области феноменального

[62, С.184-185]. Эта граница, обуславливающая касание и скрещение этих областей посредством синтетической схемы, есть продукт воображения, основывающийся на чувственных данных, но подлежащий неизменным категориям разума. И в первом, и во втором случае установление симметрии идеального и вещного не требует никакого реального (а следовательно, заведомо *несовершенного*) действия, а происходит одним и тем же образом за счет либо неизменности осуществляющейся идеи (Платон), либо за счет неизменности механизма осуществления (Кант). Из этого следует то, что история, изучающая таким образом самоустанавливающееся прошлое, будет представлять либо более или менее точным подобием динамики идеального бытия (Платон), либо тем или иным вариантом динамики идеи разума (Кант). То есть история такого прошлого будет либо воспроизведением ритма бытия, либо заданием ритма научного познания.

Но если установление прошлого есть прерогатива субъекта, драматизирующего идею прошлого, то, очевидно, что мера бытия прошлого в настоящем не автоматически выполняется согласно некоему постоянному закону, а задается тем, кто ставит прошлое как проблему и тем самым актуализирует его для себя в настоящем.

### **2.3.1. Вечное становление прошлого**

Придя к выводу, что прошлое не есть безусловная данность, и сама идея прошлого не есть стабильное множество, мы должны еще раз подчеркнуть, что прошлое как виртуальная вещь есть стихия становления. Анализируя мысли Делеза в связи с этим вопросом, О. Кошмило приходит к выводу, что бытие прошлого носит исключительно номинальный или «виртуальный» характер [67, С.80]. В таком качестве оно, как определяет с позиции историка Вен, есть «...виртуальный домен исторического жанра...» [30, С.25] с подвижной территорией. Именно прошлое как виртуальная вещь есть тот, по словам Делеза, «бескрайний» и «подвижный» горизонт, отталкиваясь от которого можно писать истории. Оттолкнуться от

безграничного становления прошлого означает утвердить определенным образом прошлое в настоящем, т.е. волевым способом осуществить насилие по отношению к «невинности становления» (Ницше). Это означает указать и учредить место прошлого и меру его бытия, а тем самым получить власть над прошлым, присвоить его, «переманив правила» (Фуко) его становления в область истории.

Что понимается в данном случае под заданием места и меры, под очерчиванием горизонта и фиксацией территории? Возможность оттолкнуться от не имеющего «естественных» границ «неполного» топоса прошлого, исключена. Следовательно, мы оказываемся перед необходимостью превентивного задания «...о(т)граниченности и о-предел-енности, т.е. топичности...» [80, С.25] прошлому. Становление предшествует истории в том смысле, что история – это всегда история чего-то, относящегося к прошлому. Для получения оперативного доступа к этому конкретному (пусть даже в первом приближении виртуальному) «что» необходимо обеспечить его топику, а значит – провести для него соответствия полю, месту, территории, что уже, как утверждает Фуко, есть осуществление господства [181, Р.69]. Господство над стихией становления прошлого заключается в насильственном разграничении той выделяемой на поверхности становления области, которая полагается как потенциально *значимая*, и окружающей ее (точнее – примыкающей к ней) «остальной» среды. Выделяемая и определенная область есть, несколько перефразируя Вена, основание «событийного поля», т.е. историзированная [30, С.313] область становления прошлого. В этом качестве она есть установленное *для истории* прошлое, окруженное превышающей ее областью «остального прошлого», служащей основанием «поля не-событийного». Однако различие между этими областями, служащих основаниями различных по значимости для будущей истории полей, заключается исключительно в нашем восприятии [там же, С.30-31] их статусов, т.е. в целевом полагании приоритетов.

Идя по стопам Ницше, Делез делает вывод о том, что историей обладает присваиваемое, подчиняемое, насилуемое. В нашем случае речь должна идти о подчиняемом прошлом как фрагментарно определенной виртуальной вещи, т.е. об «...использовании определенного количества действительности» [47, С.37-38], о реальном задействовании ограниченной (уместной) области становящегося прошлого. Такая область, или фрагмент прошлого, по причине наличия своих границ способна лечь в основу определенного «образа прошлого», позволяющего создание определенной истории.

Ницше достаточно определенно высказывается по поводу созидания того фрагментарного прошлого, которое становится для истории. «Всякое «было» есть обломок, загадка, ужасная случайность...» [94, С.102] пока оно не утверждено волевым актом. До производства этого акта, т.е. при условии сохранения своей «невинности», становление остается загадочным. Ницше сравнивает стихию становления с девственной женщиной; «все в женщине – загадка, и все в женщине имеет одну разгадку: она называется беременностью» [там же, С.47]. Из этого следует, что ничем не ограниченное, т.е. не обусловленное и не подчиненное становление сохраняет свою невинность, а значит – и бесплодность. Только в том случае, когда становление подвергается необходимому насилию, оно утверждается в ином качестве или, точнее, оно порождает плод утверждения, само будучи объектом утверждения. Как формулирует Делез, становление есть бытие, поскольку «...является объектом второго утверждения, возвышающего становление до бытия или извлекающего бытие из становления» [47, С.363]. Ограничения, утверждающие становление до бытия, служат своеобразным порогом «внутреннему» не порождающему хаосу стихии становления. В таком случае – как определяет Деррида – становление как «...то, что обнаруживает себя сведенным к условию порога, есть само Бытие, Бытие как место» [53, С.303].

Прошлое может быть ограниченно актуализировано в настоящем – в виде фрагмента, – потому что «...время настоящего – всегда ограниченное...» [46, С.90], и этот фрагмент есть часть поверхности становления. Но если мы говорим о возможности выделения *части*, то следовательно, необходимо предпослать этой возможности некоторое представление о *целом*. Поскольку, как утверждает Делез, «целое есть концепт» [45, С.470], то он вводится, но для и до его введения надо изобрести некую форму единства, которая может возыметь власть над становлением как безграничной раздробленностью, бесконечной множественностью. Это значит, что «...становление, несводимое множество...» [там же, С.455-456] должно быть подведено под категорию единства с целью получения в преследуемом «конечном» результате интеллигибельного «действительного положения вещей» взамен нетронутого действием бесконечного становления виртуальной вещи.

Здесь следует отметить немаловажную деталь. Получение интеллигибельного объекта путем подведения эмпирических данных под категорию единства отсылает нас, по умолчанию, к классической системе Канта. Однако в рассматриваемом нами случае используемая категория (единства) отлична от кантовских категорий. Как особо подчеркивает П. Стросон, для Канта «...чистые *концептуальные формы* объекта вообще есть категории...» [116, С.10], в то время как из сказанного нами выше следует понимать, что категорическая схема, налагаемая на «данные становления» с целью их определенного объединения, не подразумевает автоматической концептуализации данных. Единство, как мы уже упомянули, достигается за счет выделения области (фрагмента) поверхности становления прошлого, или – словами Кошмило, интерпретирующего Делеза, – единство опирается на выделение «...сообществ *сингулярных* элементов...», которые «...выстраиваются в циклические *серии*» [67, С.77]. Цикличность серий обусловлена повторяемостью обращения к прошлому, т.е. циклами актуализации идеи прошлого, с каждым из которых поверхность становления



«умножается» за счет напластования друг на друга и переплетения друг с другом ритмических схем актуализации. В результате поверхность становления прошлого представляет собой лабиринт, образуемый множеством ритмических фигур, каждая из которых есть разрешение структуры конкретной идеи прошлого ( $I_{pn}$ ) одним из соответствующих ее топологии ( $T_n$ ) типологическим способом ( $t_{nn}$ ). Именно фрагмент этого бесконечного лабиринта становления и выделяется; именно множество элементов этого выделения и подводится под категорию неконцептуального единства.

### **2.3.2. Лабиринт становления и роль концепта как (про)хода в лабиринте**

Делез утверждает, что «...становление можно определить как нечто преобразующее эмпирическую последовательность в серию: шквал серий...» [45, С.609]. В нашем случае мы готовы утверждать вслед за Делезом, что эмпирическое «содержание» идеи прошлого «переводится» в множество серий разрешения этой идеи, образующих во взаимном наложении и сплетении бесконечный лабиринт поверхности становления. Каждая серия, участвующая в создании этого лабиринта, есть ритмическая фигура, выражающая один из ритмов актуализации идеи прошлого. В то же время, каждая серия есть линия актуализации идеи и, будучи бесконечной, она сама по себе представляет непрерывный «...греческий лабиринт, состоящий из одной-единственной прямой линии» [21, С.357]. Разнясь между собой, линии актуализации выражают «движение по кругу» в обращении к прошлому, т.е. вечное возвращение к вечно различному «моментальному» прошлому. Неслучайно Делез говорит, что «...вечное возвращение... сразу и момент и цикл времени» [47, С.76]; в этой позиции присутствует отголосок мыслей Ницше, для которого, как отмечает Ф. Юнгер, «всякая периодичность, всякий ритм, всякий метр предполагает возвращение» [152, С.174]. Вторя друг другу, резонируя между собой, линии (серии) «сосуществуют», бесконечно образуя и усложняя ритмический

лабиринт становления. Поэтому Делез так тщательно определяет лабиринт: лабиринт кругл, «...лабиринт означает само вечное возвращение...», «...лабиринт есть становление...» [47, С.366]. Круглый лабиринт становления «эквивалентен» бесконечной поверхности становления: и в том, и в другом определении общим остается повторяющийся синтез ритмических фигур разрешения идеи, нагромождающихся друг на друга и сплавляющихся в чудовищную полиритмию, воспринимающуюся как хаос.

Понятие прошлого как хаоса становления напоминает о ставшем классическим определении Ч. Бирда, согласно которому «...история как тотальная актуальность есть хаос...» [168, Р.226]. Имея в данном случае в виду историю как (простую) запись» (history-as-record), Бирд – профессиональный историк – считает, что написание истории возможно только в том случае, если к хаотичности такой записи сознательно добавляется утверждающая вера, способная организовать некоторую форму рационализирующего упорядочения. Языком философского дискурса сходным образом изъясняется и Делез: лабиринт, воспринимающийся как хаос, есть «утверждение становления», от которого утверждается бытие; «лабиринт есть то, что приводит нас к бытию...» [47, С.367]. Но для того, чтобы появился выход (т.е. произошел некий *вывод* из становления), необходимо соблюсти два условия – проложить путь через лабиринт и установить пределы лабиринта. Упомянутое нами выше выделение, о(т)граничение области на поверхности становления, удовлетворяет второму условию. Первое же условие выполняется лишь в том случае, когда в среде множества линий, образующих лабиринт, проводится «нить утверждения» и выведения – линия концепта.

Необходимо заранее оговориться: имеется в виду не проведение единственной линии, утверждающей идеальное концептуальное единство и, таким образом, представляющее собой концепт, возведенный в превосходную степень универсального *принципа*. Это означало бы исключение возможности введения любых иных концептуальных порядков, т.е. заве-

домое игнорирование множественной «природы» становления. По определению Ницше, такое «...обожествление становления есть метафизическая перспектива – как бы открывающаяся с маяка над морем истории...» [95, С.367]. «Божественный» концепт – в качестве линии на поверхности становления – является ритмом актуализации идеи прошлого, но полагаемый единственным – основанием понятия единственного и реального ритма истории. Последнее только отбрасывает нас к гегелевской и гегельянской метафизике истории.

В нашем же случае речь идет о множественном числе концептов, которые могут быть введены в ограничиваемую среду становления прошлого. Единство, достигаемое выделением фрагмента прошлого, есть, как мы оговорили ранее, некая (со)общность элементов, а всякий концепт, – по словам Деррида – это «оператор общности» [56, С.69]. И. Пригожин замечает, что в любом данном распределении элементов, взятом сообща, т.е. рассмотренном как некоторая система, вводимые операторы играют реализующую роль: они позволяют убедительно показать, что «...реальность... есть ни что иное, как конструкция нашего разума, а не только данность» [105, С.289]. При этом соблазн обожествления становления всегда присутствует, поскольку само становление – это «раздробленный бог» (Ницше), а каждый вводимый концепт задает «точку сборки» (или, точнее, конструктивные операции: линию сборки) этого бога. Следовательно, всякая *практическая* концептуализация вышеупомянутого единства есть собирание бога, установление бога, претендующего на свое исключительное положение и – в силу такого положения – превращающего становление прошлого (о-пред'еленного поля бесконечных различий) – в *мир* прошлого. Говоря о подобной практике Ницше риторически вопрошает: «...а вокруг Бога все становится – как? быть может, «миром»?» [92, С.301]. Результатом применения определенного концепта к определенному фрагменту прошлого становится оперативное бытие определенного мира прошлого, описание которого воплощается в определенном типе историй.

При этом следует учесть тот принципиальный момент, что Ницше отнюдь не случайно погружает становящийся мир в кавычки. Как превентивно (о/у)становленное определенным образом «все», мир есть произведение искусства, бытие которого несамостоятельно и зависит от способа и стиля его создания. Поясняя мысль Ницше, Юнгер утверждает, что «мир есть такая же искусственная фиксация становления, как и комбинация» [152, С.181]. Комбинируя и перетасовывая все, имеющееся в наличии, каждый творящий акт устанавливает новый мир, облегающий нового бога, в роли которого выступает очередной практически обоснованный концепт. Для Ницше особое значение имеет сама структура этого процесса «созидательного постижения», а не атрибутика элементов, участвующих в переменных сочетаниях. Поэтому он говорит с пренебрежением об «обыкновенной эмпирической истине» [91, С.195], переводя все внимание на становление, которое утверждается, по словам Юнгера, «...не как автоматическое, а как циклическое, ритмическое, выступающее периодически» [152, С.192].

Если мы говорим, что фрагмент прошлого есть лабиринт, сотканный линиями актуализаций идеи прошлого, т.е., по сути, лабиринт, образованный множеством свободных ритмов, то линия концепта, претендующая на статус «нити Ариадны», есть линия среди линий и ритм среди ритмов. Однако, особо подчеркивает Пригожин, концепту – как оператору ритмов (линий) лабиринта – «...соответствует определенный набор собственных значений...», его спектр [105, С.284]. Поэтому его «...необходимо отличать от объекта, на который он действует...» [там же, С.283]. Сходным образом эту необходимость выявляет и Эко, понимая под концептом цепочку означающих элементов и подчеркивающий «интимный характер связи» между материей, из которой состоят означающие, и означаемыми. «Весь физический состав означающих, – пишет он – облеченный в определенные последовательности и отношения, претворяется в ритм... далеко не безразличный к значениям...» [150, С.82]. Это значит, что линия (ритм) концепта

всегда имеет особенности, требующие отличать ее от функциональных (дискурсивных) линий (ритмов), с которыми у нее складываются особые отношения, и которые ведут себя особым образом в спектре концепта.

### **2.3.3. Непонятыйная «природа» и мод(е/у)лирующие функции концепта**

Как показывает С. Неретина, особенности термина, ведущего свое происхождение от латинского *conceptus* – собрание, восприятие – состоят в том, что он предельно субъективен; концепт формируется речью и «...как высказывающая речь... не тождествен понятию...» [89, С.29]. Тем самым, служа задачам объективации некоторого материала, концепт выступает как проводник не идеальной, а интенциональной объективации. Подкрепляя это положение, Делез и Гваттари определяют концепт как произведение и творение, обладающее аутопойетическим характером. «Завися от вольной творческой деятельности, он также и сам в себе себя полагает, независимо и необходимо; самое субъективное оказывается и самым объективным» [52, С.21].

Отношения внутри концепта «процессуальны, модулярны», а сам концепт есть и «композиция», и «мыслительный акт». Суммируя эти определения концепта, данные Делезом и Гваттари [там же, С.31], Неретина приближается к выводу о том, что любой концепт, акцентирующий тем или иным образом специфику подлежащего ему материала, играет роль модели. При этом акт концептуализации есть одновременно акт памяти, воображения и суждения, и потому одновременно ориентирован, соответственно в прошлое, будущее и настоящее. По этой причине «...концепт как состояние понимания есть оксюморон...» [89, С.187], т.е. троп, а история оказывается наиболее благодатным полем его осуществления. Из этого следует, что концепт как модель неотделим от парадоксальности. Он превентивно располагается в среде материала, степень организации которого считается хаотической как минимум по причине того, что в такой мере ор-

ганизованный материал не интеллигибелен, он «ничего не говорит». Он призван вести речь о том, что имеется в молчаливом наличии и, делая его предметом обсуждения, т.е. оговаривая его, овеществлять то, о чем ведется речь. Однако здесь под вопросом оказывается и «наличие», и «имеется», поскольку при помощи концепта мы силимся понять существо того, что, по сути, отсутствует. Поэтому неслучайно, что, поясняя позицию Деррида по этому вопросу, Е. Гурко движется по линии оксюморона: «...история есть единство становления, невозможное присутствие отсутствующего источника...» [43, С.79]. В таком случае нам следует говорить, что концепт не только овеществляет стихию становления, осуществляя ее в истории, но и обналичивает само историческое. Концептуализация хаотической среды – продолжает Неретина – означает, что «...концептов может быть множество – множество прорывов из хаоса...» [89, С.31]. Т.е. множество ходов в лабиринте становления, «трасс сквозь хаос» [там же, С.50].

Посредством концептуализации стихии становления происходит «...взаимодействие тропического и логического в сфере исторического...» [там же, С.188], результатом чего служит появление множества историй, каждая из которых настаивает на свойственном своему концепту и утверждаемом им «фокусе единства» [там же, С.245]. Концепт фокусирует единство, которое предшествует концептуальному построению. А значит, – возвращаясь к процитированной выше мысли Делеза о том, что целое это концепт, – мы вправе утверждать, что концепт сообщает целостность определенному становлению, т.е. в фокусе концепта находится единое наличное становление, схваченное в своем композиционном целом.

В этом месте следует отметить параллель, возникающую между нарисованной нами картиной и картиной, которую рисует Августин в попытках ответить на вопросы о принципах функционирования ритмической структуры стихотворного или музыкального произведения. С точки зрения Августина воспринимаемый ритм – это «плод работы духа», который рождается из сопоставления двух неравноправных по своему статусу ритмов,

представляя собой в одно и то же время и узнавание, и воспоминание. В его диалоге «О музыке» это поясняется следующим образом: «Мы оцениваем *запоминаемый ритм* (*recordabiles numeri*) с помощью *оценочного ритма*, существующего в нашем сознании (*iudiciales numeri*)» [164]. Это значит, что ритм, который воспринимается, – это результат ритмической модуляции, в ходе которой «внешний» ритм подпадает под юрисдикцию «внутреннего» ритма. В нашем случае, учитывая формирование концепта речью, которая, по мысли Неретиной, «осуществляется... в пространстве души с ее ритмами, энергией... бесконечными уточнениями...» [89, С.29-30], можно сказать, что концепт играет властную роль оценочного ритма. С поправкой, касающейся его источника: в отличие от схемы Августина, полагающей оценочный ритм как интуитивно применяемый дар свыше, в нашем случае оценочный ритм свободно творится. Концепт, образно говоря, представляет собой ритм, поставленный над ритмами, т.е. принудительно задаваемый ритм, оперирующий объединенное множество свободных ритмов и модулирующий эти ритмы по праву метра для достижения в пределах этого множества системной целостности.

Свободный ритм противоположен целостности. Непрерывающееся становление актуального прошлого обуславливает вечную перегруппировку элементов в пределах всякий раз по-новому выделяемого поля. Концепт, как насильственный ритм, нарушающий «невинность» становления, ограничивает свободу ритмов актуализации; он *практически* метризует ритмическое единство. Это значит, что ритм концепта выступает в качестве метра для ритмов актуализации, т.е. играет роль структурной модели того мира прошлого, который, говоря словами Делеза, утверждая становление, олицетворяет конкретный результат побега от бесконечного становления. Более того, метр выступающий как модель, – «...это не только абстрактная теоретическая схема...», настаивает Р. Якобсон, но своего рода нормативная база, которая предопределяет «инвариантные особенности реализации» и «устанавливает пределы варьирования» грядущего произве-

дения [155, С.243-244], т.е. указывает, в нашем случае, и на характерные особенности, и на вариативные резервы мира прошлого.

Поясняя роль, которую играет концепт в отношении сообщества элементов, Делез отмечает, что «концепт... представляет собой ансамбль сингулярностей» [48, С.190]. В тотальную раздробленность выделенной области становления, т.е. в изометрию и полиритмию «моментального» прошлого, представляющее собой конкретную ко-ординацию элементов, концепт вносит намеренную суб-ординацию. Тем самым концепт упорядочивает лабиринт свободных ритмов в целом: собирает элементы под своей эгидой и монтирует формальное основание мира прошлого. Другими словами, операция концептуализации преобразует порядок скоординированного распределения агрегата данных в порядок сущего. Как замечает Пригожин, множество данных представляет собой суперпозицию элементов, их «базисное распределение», в котором индифферентные координаты элементов сопряжены с топологией этого множества. «Каждому базисному распределению можно поставить в соответствие *внутреннее* время...», – продолжает Пригожин, – которое зависит от топологии множества и «...в действительности представляет собой *оператор*» [105, С.339-340]. Это означает оперативное «вмешательство» концепта в множество, концептуальное выстраивание темпоральных конструкций «внутри» ритмического единства, учреждение архитектурного канона в топосе. Посредством концепта вносится процессуальное «соотношение» между элементами сообщества и в этом смысле концепт позволяет, по словам Делеза, отразить множественность и становление «...во втором утверждении, принимающем их в качестве объекта» [47, С.368].

Так как всякий раз иной концепт вступает в контакт с всякий раз иным «моментальным» прошлым, мир прошлого представляет собой непостоянную (и, в некотором смысле, «случайную») конструкцию единого целого, ключ к логическому прочтению которого и предлагается концептом. Взятые в неконцептуальном единстве ритмы актуального прошлого



«удерживают» эмпирические элементы в одном лабиринтообразном пространстве, но, как замечает Деррида, «...по ритмам прошлого ничего не вычислишь» [54, С.122]. Не будучи различены концептуально, ритмы прошлого не сулят выхода из лабиринта, потому что «сами по себе» они не ведут к выходу настоящего, – надо *сознательно* проходить через них. Настоящее – это время сознания; осознание прошлого – это превращение его в настоящее. Неслучайно разрабатывая тему лабиринта-становления, Делез отмечает, что «прежде всего он означает бессознательное...» [47, С.366]. Сознательное проведение концептуальных линий среди других линий лабиринта есть, продолжает эту мысль Б. Шифрин, поиск ходов и странствие этими ходами в поисках выхода. Движение «...только кажется навязыванием пространства», т.е. лишь формально соответствует метрике лабиринта; на самом деле в преследовании утвержденного пути «навязывается определенный образ времени; определенный тип ритма» [143, С.207]. Траектория движения в лабиринте есть тоже некоторая серия, «серия от серий», некая вторичная ритмическая фигура, пытающаяся сладить и совладать с ритмическим хаосом лабиринта, пытающаяся установить систему цитирования окружающих серий (ритмов). Подобное движение возможно *между* имеющимися сериями, с использованием пустот лабиринта; подкрепляя это положение своей интерпретацией одной из притч Чжуан-цзы, Бодрийяр отмечает, что всякий проход в подобной структуре «...артикулирует моменты неполноты...и тем самым деконструирует ее согласно ее собственному ритму» [19, С.227]. Описания этих траекторий хода, прохода и вероятного выхода, задающих несвойственные самому становлению цельности, представляют собой различные истории.

Одним словом, различие ритмических единств, выделяемых на поверхности становления прошлого, утверждаемое различием применяемых концептов обуславливают тот факт, что в нашем распоряжении оказывается прошлое как переменное основание переменного настоящего. Именно за счет этого, считает Деррида, при описании многоликого прошлого под уг-

лами зрения, задаваемыми многочисленными концептами, «...имеет место не единственная история, всеобщая история, но истории, которые различаются своими типами, своими ритмами, ... истории, которые смещены, дифференцированы...» [56, С.91-92]. Каждая история делает вывод своего типа из конкретной реальности виртуального прошлого и тем предлагает свой вариант выхода из лабиринта.

#### **2.3.4. Практика объективации исторического прошлого**

Таким образом, мы вправе констатировать, что концептуализация ритмических единств представляет собой реальное практическое действие, которое, будучи субъективным, ведет к объективации прошлого. Концепт вводит принцип различения и взаимоотношений серий высказываний о прошлом, неразличимых в плоскости чистого становления, но «составляющих» выделенный фрагмент. Концепт рационален или, выражаясь точнее, концепт предлагает конкретную конвенцию рациональности, следование которой – как обещает концепт – приводит к выходу из лабиринта. Применение концепта расставляет акценты в ритмической пульсации, которая предшествует производимому миру прошлого и тем делает возможным само произведение в параметрах завершенности, в целом – и как «тропологическое единство» (Неретина), и как «объект второго утверждения» (Делез) – в рамках выделенного фрагмента прошлого.

Подобная стратегия «общения» с прошлым лежит в русле постмодернистских воззрений, отстаиваемых, в частности, Анкерсмитом, чье мнение относительно необходимости практической объективации идеи прошлого мы упоминали выше. Идентичную позицию занимает и Вен, решая вопрос практики, дезавуирующей позитивистскую веру, касающуюся существования для историка его «естественного объекта». Проблему исторического объекта Вен предлагает решать «...с середины, с практики или дискурса»; практика «*актуализирует виртуальности*», она «...испускает объективации, ей соответствующие, и привязывается к моментальным ре-

альностям...» и в результате практики появляется шанс реализации виртуальностей [30, С.369]. Очевидно, что в данном случае идет разговор о практике овладения прошлым посредством его создания. Осуществление господства над прошлым есть осуществление прошлого в практике настоящего, т.е. в практике исторического знания, которая позволяет получить в свое *распоряжение* мир прошлого, подвластный логике, пониманию и готовый к объективному познанию. «Прошлое *становится* (в обоих случаях курсив наш – М.Ш.) историей тогда, – поддерживает эту точку зрения Рюзен – когда интерпретируется в категорической структуре *концепции* времени, которое связывает его с настоящим...» [199, Р.15]. Следовательно, цель практики состоит в том, чтобы, актуализируя прошлое как виртуальную вещь, определить его в конкретных границах, подвергнуть концептуализации в целом и, в результате, получить фрагмент прошлого как конкретную реальность, используемую в качестве объекта исследования.

Проследим дальше цепь рассуждений Вена. Он утверждает, что «...конкретная реальность есть становление...» [30, С.170] и становление всегда самобытно. История же есть «...понимание конкретного...», которое специфично по той причине, что «...конкретное уникально и не имеет глубины...». Но «...поскольку конкретное есть становление, а понятия всегда слишком жестки, то представления и категории историка должны стремиться соответствовать становлению, оставаясь гибкими» [там же, С.275]. Из вышесказанного очевиден вывод: историку следует использовать не фиксированные понятия, которые заведомо играют деструктивную роль в отношении динамизма становления, а непонятные категории, динамическая природа которых адекватно отвечает «природе» становления. Делез в этом вопросе идет дальше, считая недостаточным «соответствие становлению»; с его точки зрения становление необходимо утверждать определенным образом, потому что именно утвержденное становление способно стать «источником» бытия. Однако, замечает он, «...понятие... не способно содержать в себе различия, необходимого для утверждения...»

[47, С.43], из чего следует, что в основе утверждаемого для понимания должна находиться сила непонятийного динамического различия, которая может быть представлена в форме какого-либо единства.

Каким же может видаться выход из этой ситуации? Стихия становления, как мы выяснили, есть безостановочное нагромождение конфигураций эмпирического материала, которое, будучи ограничено и подчинено концепту, дает нам формальную модель мира прошлого, т.е. некий скелет метрики этого мира, пустой образ прошлого. Важно то, что формирование образа прошлого есть формирование образа значимого, а не просто возможного. Эта значимость, подчеркивает Х. Фейн (Fain), «...не возникает из нагромождения фактов...», но «...достигается в результате сложного взаимодействия факта и концептуальной системы» [180, С.98]. С учетом того, что концепт выступает превентивной и субъективной мерой (метроритмом), организующей субординацию свободных ритмов становления, взятый в своем единстве и в спектре концепта фрагментарный образ прошлого представляет собой сложную ритмическую схему. Эта ритмическая схема является своего рода «передаточным звеном», динамическим выражением того, что Делез называет очевидной дуальностью идеи и образа [46, С.334]. В нашем случае следует говорить о схеме, располагающейся «между» идеей прошлого и образом прошлого, между топологией идеи прошлого и метрикой мира прошлого. При посредстве этой схемы идея «...охватывает те отношения и пропорции, которые конституируют внутреннюю сущность [вещи]» [там же, С.334], т.е. «сущность» того прошлого, которое фигурирует в истории как описываемая «вещь».

Взятые в кавычки «сущность» и «вещь» отсылают к принятой нами точке зрения Анкермита, согласно которой некорректно говорить о сущности прошлого самого по себе. Прошлое описывается в нарративе с помощью конструируемых сущностей, которые «...воплощают то, что обычно называют «тезисами о прошлом...» [3, С.14] и которые могут быть названы «нарративными субстанциями». Но сами «тезисы о прошлом», взятые в

концептуальном единстве, есть не более, чем объекты мысли. Объекты мысли в качестве объективированных фрагментов прошлого выполняют задачу вариативного сопряжения проблематичного прошлого – и подопытного феноменального настоящего. Поскольку такая объективация субъективна, то и область этих объектов есть «место», где вырисовывается индивидуальность субъекта на стыке полной предметности настоящего и пустого образа прошлого. В такой расстановке, стало быть, мы, с одной стороны, имеем обусловленный идеей прошлого образ прошлого, соответствующий категории субстанции; с другой – субстанции, дающие нам представление о прошлом. При этом, как замечает Кукарцева, проводя анализ позиции Анкерсмита, объекты мысли есть «вещи без предмета» [68, С.29]. Используя терминологию так называемой «сетевой парадигмы», можно сказать, что среда объектов мысли есть концептуализированная сеть отношений ритмов актуализации, которая играет роль путеводной карты (т.е. той же схемы) фрагмента становления прошлого – для задумываемой истории. По мысли М. Мандельбаума (Mandelbaum) эта среда представляет собой некое картографическое подобие «...очень сложной сети, границы которой выделяются переплетением историй» [188, Р.42]. Косвенным образом эту мысль подтверждает и Данто, говоря об истории как об описании мира прошлого в соответствии с образом последнего. Поскольку «...полное описание имеет некоторую аналогию с картой», то – пусть даже «...нет такой вещи как несокращенная карта...» [177, Р.151] – наличие самой карты (схемы) служит залогом возможности восприятия того, схемой чего мы обладаем.

В определенном смысле эта ритмическая схема может рассматриваться как та схема, в которой нуждается, согласно Канту, идея для своего осуществления [61, С.486]. Прошлое в кантовской терминологии – это отсутствующий предмет, формальное единство, схема, целостность в виде образа, представляющая «пустые данные для понятий» [там же, С.214]. Таковую схему можно жестко подвести под понятия, постулируя действи-

тельное бытие прошлого. Это влечет за собой порождение постулатов о цели, смысле, логике и универсальном принципе процесса Истории, что является венцом системы Гегеля и становится закономерным достижением любой метафизики истории. Однако, ритмическую карту-схему можно интерпретировать на стыке возвращения к аристотелевскому термину *schema*, свидетельствующему, в первую очередь, о становлении действительности [194] – и плюралистических установок современной философии истории. (Неслучайно при выстраивании своей позиции Анкерсмит обращается к предположениям Аристотеля об идентичности функционирования сознания и познания).

Альтернативой подведения ритмов становления под единственную линию понятий становится непрекращающаяся перелицовка карты-схемы мира прошлого в соответствии с множественностью применяемых концептов. Тем самым, как пишет Бодрийяр, производится отход от линейной парадигмы Просвещения, т.е. от «евклидова пространства истории», в котором «...самый быстрый маршрут из одного пункта в другой есть прямая линия...» [166]. Многолинейная концептуализация становления, порождающая сложные непонятные ритмические модели, в спектре значений которых многослойный характер (полиритмия) самого становления выявляется через меняющиеся комбинации аспектов и акцентов, задает нелинейное пространство истории. В таком пространстве, где кратчайшее расстояние может оказаться результатом длительного блуждания, рыска, смеси вращения «на месте» и возвращений, вопрос «конца истории» теряет свой смысл как вопрос о безусловной определенности конечного пункта движения. В таком пространстве, где, как пишет Кукарцева, прошлое для исторического исследования, некоторый «...реальный мир есть просто цепь последовательностей, имеющих пре-нарративную структуру...» [70, С.73], вопросы причинности мыслятся как прерогатива нарратива. А следовательно, заключает Анкерсмит, любая «идея истории», вызывающая к

жизни вопрос о «конце истории», располагается исключительно в нарративе, что обуславливает вариативность как историй, так и их концов.

Подчеркивая этот принципиальный момент, Анкерсмит поясняет: «Я не согласен с историками в том, что они располагают «идею истории» в самом прошлом непосредственно: для меня «идея истории» ведет свою жизнь исключительно в исторических текстах» [2, С.12]. Предлагая со своей стороны «инструменталистское прочтение «идеи истории», Анкерсмит, косвенно, утверждает и «инструментальный» характер «конца истории». Всякий подобный конец есть сопряженный со способом описания и финализирующий в пределе своего использования инструмент объяснения определенной истории как процесса осуществления определенной «идеи истории». Очевидно, что уже сама «идея истории» является тем *понятием*, под которое подводятся ритмы становления не только для того, чтобы их концептуально «схватить» на фактической плоскости, но и синхронизировать вдоль гипотетической линии. Последнее же становится возможным в длящем себя языке изложения, с помощью которого становление – во всем его бесконечном различии – описывается конкретным образом. Как замечает Барт, «... *различие* — двигатель диахронии, а не истории. История начинается лишь тогда, когда эти микроритмы нарушаются...» потому что «...объяснения требует то, что длится, а не то, что «мелькает» [14, С.279]. История не представляет собой только фактическую плоскость непонятного, но нацелена на утолщение этой плоскости за счет последовательной и логичной «понятийной интриги» (Вен). То есть посредством проведения в жизнь «идеи истории» – сюжета, действительного в конкретном нарративном мире прошлого и закономерно приводящего этот мир к его концу, – мы определенным образом «распространяем вширь» (Барт) (что следует понимать как «добавляем измерения») концептуальную ритмическую модель фактического мира прошлого.

История как наука остается описательной, а значит – непременно утолщающей буквальный информирующий слой за счет полагания – в

рамках применяемой «идеи истории» – процессуального времени как синтеза. Именно поэтому Э. Ле Руа Ладюри негативно относится к тем исследователям, которым «...вздумалось отрицать толщину старого Хроноса», поскольку, как он уверен, «...нельзя построить гуманитарную науку, не учитывая толщины прошлого...» [71, С.173]. Развертывающаяся в синтетическом повествовательном времени история производит раскрытие прошлого посредством использования «схем рассказывания» (Зенкин), функционирующим по законам применяемого ею языка.

### **Выводы к разделу**

Подводя промежуточный итог, мы вправе ответить на вопрос о сочленение поверхности «простой записи» и истории, который ставит Фуко. Поскольку – путем типологических операций, определения рядов и концептуализации фрагментов поверхности становления – прошлое как «виртуальная вещь» без сущности предстает перед нами как поле конкретных исторических вещей, можно утверждать, что искомое сочленение – есть грань реального овеществления и уплотнения оперативного прошлого. Это граница, на котором ритмическая упорядоченность становления элементов актуального прошлого утверждается в качестве переменного основания, на котором строится описываемый впоследствии исторический мир прошлого. Сочленение, с которого «начинаются» истории есть, таким образом, бесконечная сумма точек выхода из лабиринта становления прошлого, производящая его оконтуривание и тем самым подвергающая становление прошлого ограничивающему утверждению, «производящему» из него историческое бытие как место, – т.е. историческое поле. При этом каждая точка выхода обуславливает отдельную историю, предлагающую конкретную версию раз-решения проблематического прошлого.

Историческое поле выступает как место-бытие исторического мира с изменяющейся территорией. Историческое поле конституируется; его текстура аналогична структуре актуализируемой идеи прошлого и имеет оп-



ределенную размерность, отсылающую к измерениям идеи прошлого как параметризованного множества. Элементы исторического поля выступают как позитивности, т.е. как упорядоченные в рядах факты актуального исторического мира, которые поддаются исчислению. Сама возможность числовой обработки фактического материала обусловлена топологией исторического поля: его параметры определяют математические операции с составляющими его элементами. При этом отмечено, что историческое поле выступает всякий раз по-иному: как моментально устанавливаемый результат учета метрики идеи прошлого, актуализируемой всякий раз иным способом.

Актуализация идеи прошлого погружает нас в стихию становления прошлого; выход из нее мыслится возможным лишь путем созидającego утверждения значимости ограниченного фрагмента прошлого и посредством рационализирующей концептуализации выделенного таким образом фрагмента. Концепт, организующий этот фрагмент и в определенных границах, и в определенном ключе, превращает фрагмент в историческое поле. Соответственно, упорядоченная в рядах диспозиция высказываний о прошлом, представляющая до-концептуальную «подкладку» исторического поля, в субординации, задаваемой введенным концептом, играют роль исторических источников.

На основании исторических источников и в соответствии с рационализирующим концептом, т.е. исходя из структуры исторического поля, адекватного актуальному для исследования фрагменту прошлого, происходит репрезентация прошлого в исторических текстах, особенности и способы которой рассматриваются в третьем разделе.

### РАЗДЕЛ 3

#### РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОШЛОГО ЯЗЫКОМ ИСТОРИИ

Исследуя последствия «лингвистического поворота» в области истории, Дж. Тоес (Toews) делает развернутый вывод о том, что наряду с непрекращающимися разногласиями по традиционным дисциплинарным вопросам, предельно актуализировано обсуждение проблемы языка в историческом знании. Опротестование тезиса о прозрачности языка, позволяющей адекватную репрезентацию прошлого, влечет за собой готовность многих историков признать тот факт, что «...язык не может быть рассмотрен как просто среда, относительно или потенциально прозрачная...» [201, Р.882], пассивно сопутствующая выражению действительности. В свою очередь это приводит к констатации того, что «...язык не только придает очертания реальности, доступной опытным путем, но конституирует ее, что различные языки создают различные, дисконтинуальные и несоизмеримые миры...» [там же]. Как для историков, так и для философов истории, постмодернистские концепции влекут за собой переосмысление исторической эпистемологии в свете понятия множественности реальностей, опирающегося на широкий выбор применяющихся языков и дискурсивных практик.

Каждая конкретная реальность, с которой работает историк, сосуществует с множеством себе подобных и равнозначных; каждый фрагмент прошлого подразумевает «соседство» (т.е. и сотрудничество, и конкуренцию) других фрагментов. Множественное прошлое, к которому применено множество концептов, а значит – практически – множество «настоящих» времен, порождает на письме множество историй, которые одновременно дают истолкование прошлого каждая в своем ключе. В результате мир исторического описания может быть образно представлен – с помощью метафоры Эко – «...в виде огромного противня, на котором одновременно

готовилось много историй, не исключено, что с одними и теми же персонажами, хотя каждая со своим временем» [149, С.414].

К сказанному следует добавить: каждая история, отличается от родственных ей историй своим временем, ритмом, стилем, манерой изложения; она использует конкретный объем информации и сопряжена с определенным языком. Как замечает П. Хаттон, осмысливая исторический проект Фуко, «...стиль исторического исследования, так же, как и количество собранных фактов, определяет способ представления прошлого...» [134, С.294]. С помощью «своего» языка, при его посредстве и под его гнетом письменная история сочленена со «своим» историческим полем. Практический выбор языка и способов его использования определяет и тип вещей, положение которых утверждается в реальности, и тип истории, излагающей информацию о положении вещей. Как полагает Ф. Джеймисон, выбор языка есть выбор той формы, которая и артикулирует, и текстуализирует ситуацию. Диспозиция источников исторического поля, понимаемая как реальность, попадает в поле действия языка, который старается «...втянуть Реальность в свою текстуру» и «...вместить Реальное в себя, в качестве собственного внутреннего или имманентного субтекста» [184, Р.81]. Следовательно, применяемый язык очерчивает ряд формальных параметров мира прошлого, по которым можно судить о логике изменений этого мира, его законах, траектории движения и ритме его бытия. Т.н. «язык романа» подразумевает такое использование языка, в ходе которого особенности описываемого мира есть особенности построения текста. Т.н. «язык математики» стремится реализовать другие возможности языка, сводя особенности анализируемого мира к специфике до-языковых структур. В первом случае мы с необходимостью углубляемся в нарративную теорию текста и сюжета, повествования и метафор; во втором, – в структурную теорию систем и статистики, множеств и диаграмм.

### 3.1. Нарративное использование языка как освоение текстуальной реальности прошлого

Взросший интерес к нарративному измерению исторического текста обусловлен тем, что в глазах традиционной историографии его литературный аспект контрастировал с понятием научности. Можно сказать, что наследие античной традиции, заключенное в отсутствии такого понятия как «литературность», нашло своеобразное продолжение в постулате о «прозрачности языка». Античный универсум как ритмическое целое мыслился, по сути, как божественное поэтическое произведение, метрика которого в равной степени распространяется на все, что происходит в этом произведении. Следовательно, всякой речи предшествовала «поэтика мироздания» и задача состояла не в том, чтобы *превращать* речь в поэзию, а в том, чтобы *соблюдать* в речи поэтическую первооснову. Проблема подобного соблюдения, возникающая с появлением практики написания философских, исторических и астрономических сочинений в прозе, трансформировалась со временем в практику восприятия языка как индифферентного средства изложения. Другими словами, метафизический подход к историческому тексту опирался на положение об автоматической адекватности письменной истории – историческому бытию. С максимальной точностью эту мысль выражает заявление Б. Кроче о том, что «хорошее историческое письмо подобно красивой поэзии, его не надо изобретать, потому что оно всегда существовало в мире, и имеет длинную собственную историю» [174].

Однако, как утверждает, Анкерсмит, оказывается, что «в истории язык приобретает собственную субстанциальность...» [2, с.193], а лингвистически ориентированные исследования свидетельствуют об эффекте литературности, присущем всякому тексту и историческому тексту в частности. Литературность – в определении Якобсона – может пониматься как «...превращение речи в поэтическое произведение и система приемов, благодаря которым это превращение совершается» [154, с.81]. Из этого следу-

ет, что универсальная поэтическая первооснова какой-либо творческой деятельности отсутствует как данное, и есть необходимость поэтизации того материала, который репрезентируется определенным образом в произведении. Параллельно с этим появляется проблема анализа признаков литературности повествования, к числу которых едва ли не в первую очередь принадлежит ритм. В нашем случае, если повествование – это способ, которым творится история, то повествованию, как утверждает Уайт, должен предшествовать некий поэтический акт. При этом «слово «поэтический» – добавляет Рюзен – должно быть понято в его оригинальном смысле как поэзис, что просто означает делать или производить что-либо» [198, Р.87].

### **3.1.1. Процессуальное оформление истории посредством сюжета**

Как утверждает Уайт, историк выбирает сюжет будущей истории, и в таком случае вполне правомерен вопрос: что и как влияет на выбор того или иного сюжета? Или, другими словами, от чего может оттолкнуться историк, стоя перед подобным выбором и что он не в силах игнорировать?

Сюжет для исторического повествования – это *форма* процесса, выражающая динамику того, что считается действительным. Для определенной исторической темы сюжет определяет принцип ее разворачивания и решения, утверждаемый за счет определенной связи фактических элементов, действительная диспозиция которых прочитывается как объединенная логически и причинно в единое целое композиция. С точки зрения Аристотеля («Поэтика») сюжет есть «подражание действию», которое выполняет организующую функцию по отношению к исходному материалу и обуславливает «сочетание фактов». Всякое действие имеет свое начало, всякий сюжет нуждается в определенной ситуации, с которой и начинается умножение коллизий, приводящих к ожидаемому результату. Для художественного же произведения форма повествования – это «прежде всего... его структура, то есть развитие некой истории...», которая представляет

собой, как настаивает В. Набоков, «... рассчитанную схему произведения искусства...», а также «...стиль, иначе говоря, то, как действует эта структура...» [88, С.160]. И, поскольку данностью для будущего сюжета выступает диспозиция элементов, то можно утверждать, что выбор сюжета – это авторская реакция в определенной манере на имеющуюся диспозицию, ограниченную хронологическими рамками поставленной задачи.

В теории Уайта следует отметить два существенных, на наш взгляд, момента. Во-первых, акту префигурации предшествует выделение определенного фрагмента прошлого, означающее – как мы уже выяснили ранее – «первичную» организацию эмпирического материала. Как говорит Гавришина, анализируя позицию Уайта, «...историк до каких-либо актов исследования или письма полагает наличие мыслимого «целого» в прошлом...» [34, С.536]. Это значит, что необходимо задается временной масштаб будущего исследования, хронологически очерчивающий границы этого фрагмента. Только в том случае, когда интересующий историка фрагмент *представляется* им как не как фрагмент среды становления прошлого, хаотический агрегат данных, но как потенциально интеллигибельная цельность, появляется возможность конституировать эту цельность в некоторой форме и *установить* ее в качестве объекта исследования. Очевидно, что исследование объекта установленной формы возможно с использованием источников, которые «предоставляет» историческое поле. Преследуя уайтовскую мысль, Рикер отвечает на вопрос «что должно предварять создание формы?» предельно точно: «...ничего... кроме необработанного исторического источника – *unprocessed historical record*» [107, С.354], т.е. историческое поле. Поэтому, во-вторых, перед историком стоит задача и необходимость префигурировать цельный фрагмент прошлого в качестве исторического поля, что означает, по мнению Уайта, «...конституировать его как объект умственного *восприятия* (курсив наш – М.Ш.)» [124, С.50]. Именно представление фрагмента прошлого как цельного и установление его в качестве объекта восприятия, который не противится осмыслению, а

– напротив – форматирован в том виде, который сам по себе служит залогом возможности осмысления, предшествует нарративной концептуализации этого объекта. Тем самым очевидно, что в процессе префигурации исторического поля, которая происходит «до того как историк будет в состоянии наложить на данные исторического поля концептуальный аппарат с целью их представления и объяснения...» [там же], имеет место деформация исходных данных «чистого прошлого».

Известную фразу Барта о том, что «факт имеет лишь лингвистическое существование» Уайт ставит одним из эпиграфов к своей теории. Однако всякий факт, конструируясь в языке, имеет в качестве своего предтечи множество высказываний о прошлом, т.е. пространство нелингвистических «сущностей», в котором только «ведется речь» о прошлом, но еще нет какой-либо системы придания значений или генерации смыслов. Именно «...при работе над нелингвистическими сущностями...» для выяснения значения фрагментов дискурса, не существующего независимо от языка, появляется необходимость, – утверждает Барт, – «...находить язык (в обычном смысле этого понятия термина)... не только как модель, но и как компонент...» этого значения [165]. И поскольку язык является системой не только грамматической, с его помощью и в его среде создаются системные ансамбли из имеющихся элементов, т.е. формы цельности, сообщаемые разрозненности единичных высказываний о прошлом. Само собой разумеется, замечает Барт, что «...в создании ансамблей этих элементов не предполагается, что они останутся неповрежденными...» [там же].

Отправной точкой избираемого сюжета оказывается результат субъективной оценки историком имеющегося фактического материала, взятого как ансамбль – в комплексе (в целом) и в перспективе от временных границ исследования. Как мы выяснили ранее, установление хронологических границ для рядов фактических данных превращает последние в «исторические источники». Тогда получается, что исследователь при выборе сюжета опирается на свое представление об источниках, а само понятие источника

говорит о деформированном в языке ряде высказываний. Историк констатирует со своей точки зрения определенный *тип* ситуации, с которой впоследствии начинается его повествование, т.е. выбирает сюжет в функции от того, *как* он воспринимает тот уровень исторического поля, который еще не подвергся фигурации, а также от того *какая* задача поставлена им в исследовании. Другими словами, историк решает задачу перевода своего представления о хронике – на язык, адекватным образом выражающий его восприятие этой хроники в целом и предлагающий норматив восприятия этой хроники для других.

В этом случае историк общается не с желаемым прошлым самим по себе, но с тем прошлым, с которым единственно возможна коммуникация. Это прошлое, как поясняет Анкерсмит, «...так же, как и текст... обладает значением, которое мы пытаемся обнаружить, требует интерпретации и состоит из лексических, грамматических, синтаксических и семантических элементов» [2, С.162]. Иными словами, это – прошлое в языке, и как прошлая реальность оно реально за счет языка, который наделяет его эффектом реальности, реализуя возможности своих измерений. «...и Уайт, и Рикер», – развивает свою мысль Анкерсмит, – «...любят говорить, что прошлая реальность должна быть *рассмотрена* как текст... с лексическими, грамматическими, семантическими и синтаксическими *измерениями* (курсив в обоих случаях наш – М.Ш.)» [там же, С.326]. Действительно, Уайт считает, что историк усматривает в конкретной хронике исходную ситуацию для выбора сюжета. Он формирует представление о ней, для того, чтобы впоследствии воспринять «пре-нарративную» структуру исторического поля на предмет рассмотрения ее в текстовом формате. Это значит, что на фактическую структуру исторического поля, которая «двумерна» – как упорядоченная в пространственно-временных координатах хроника – им накладывается матрица фигурального языка или, другими словами, «объяснительная сетка» (Гавришина) или структура сюжета. Таким образом, хронике сообщаются «дополнительные» измерения, после чего она –



как гомогенизируемая смесь фактических и фигуративных элементов – становится в полном смысле слова нарративом. Критический подход, считает Зенкин, заключается в разделении слоев, которые нарратив создает, «... накладывая друг на друга чувственные и интеллектуальные компоненты...» [57, С.531]. В то же время, настаивает Кроуэлл, всякий конструктивный подход требует признания того, что подобные смешения и наложения компонентов в нарративе обязательно должны происходить. Следовательно, необходимо не просто утверждать, что «...*есть* разнородность познавательного и нормативного в историческом повествовании...», но признать, что «...эти два момента являются *неотделимыми*...» [175].

Историческое поле до его нарративной репрезентации дает в наше распоряжение необходимые данные для проведения дальнейших операций и манипуляций – конфигурацию источников, множество высказываний о прошлом, статистику типов этих высказываний, интегрированную в ряды – т.е. некоторую данность, высказывающуюся о прошлом, но никоим образом не описывающую *что* именно есть это прошлое. Подобное положение и Уайт, и Анкерсмит пытаются пояснить с помощью метафоры пейзажа, который предстает перед художником. Художник запечатлевает на полотне то, что он усматривает в пейзаже, т.е. не то, что «есть на самом деле», а то, что является преломлением увиденного – наблюдателем. Именно поэтому не может быть двух одинаковых картин, написанных с одной и той же натуры или, в нашем случае, дублирующих друг друга историй, опирающихся на одну и ту же хронику. Как говорит по этому поводу Уайт, «не может быть, чтоб два художника смотрели на один и тот же пейзаж и видели одно и то же» [208, Р.46]. Анкерсмит добавляет, что репрезентация прошлого «...есть прежде всего вопрос демаркации контуров...» [2, С.246] различных объектов и сущностей, имеющих место в создаваемой «картине прошлого». Продолжая аналогию между историком и художником, он приходит к следующему выводу: «у живописца есть рама, холст, законы перспективы, которые позволяют определять ему эти контуры и линию

демаркации», т.е. «...рамки, с которыми должен иметь дело художника – это рамки мира, им наблюдаемого» [там же, С.247]. Для историка дело обстоит сходным образом: поскольку «единственные ясные контуры, которым обладает прошлое, имеют модальный характер... Рамки историка таковы, что они замкнуты между тем, что есть и чего нет» [там же].

Из вышесказанного следует, что ясность присутствует на элементарном («примитивном» и «прозаическом» – говорит Уайт; «и потому не интересном» – добавляет Анкерсмит) уровне исторических фактов. Это значит – на том уровне хроники, согласно которой в каждый момент на выделенном отрезке хронологической оси находится или не находится определенного типа высказывание о прошлом. Относительно ясен буквальный (или точнее дословный) ритм источников, определяющий фактические возможности исторических повествований, но он только предшествует всякому развернутому описанию и потому не есть история в полной мере. Наличие перечней по типу фактических элементов, статистических рядов, списков имен необходимо, но – как показывает на бытовом примере Данто – «перечень не является повествованием; телефонный справочник Нью-Йорка – не историческое сочинение, хотя он бы мог пригодиться, возмись кто-нибудь написать историю Нью-Йорка» [44, С.118].

Следовательно, для осуществления нарративной репрезентации прошлого последовательность пунктов перечня его элементов должна быть преобразована в последовательность событий, свободный ритм источников – в закономерность целостного исторического процесса, хроника – в историю.

### **3.1.2. Тропологические функции сюжета как идеальной организации исторических событий**

В отличие от нагромождения фактов, скученности дат и имен, история не скучна; привлекательность истории по большей мере зависит от ее художественности, поэтичности и увлекательности. В то же время история

может казаться читателю неинтересной, не теряя при этом своей информационной значимости. Вен полагает, что интерес – ключевое состояние историка, которое в значительной степени зависит «...от состояния источников, от его склонностей, от идеи, которая придет ему в голову...» [30, С.37]. Историк, безусловно, интересуется фактами, но «все зависит от выбора интриги; факт сам по себе... не интересует,... поскольку факт без интриги – ничто» [там же, С.43]. Равным образом и читатель – при всей его склонности к новым фактам – без всякого интереса воспринимает новое, никоим образом не схожее с уже известным. Очевидно, что и исследовательский, и познавательный интерес кардинально зависят от формы представления информации, т.е. от того сюжета (интриги), который эмулирует «ткань истории», по существу отсутствующую.

Как мы уже выяснили, сюжет есть сочетание фактов; «механизм сюжета» (Барт) представляет активный синтез, который не дублирует структуру хроники и не сводится к ней. Сами факты не могут сочетаться (сочетать себя), вступать в отношения без принуждающей инстанции. Историк устанавливает конфигурации возможных отношений между описываемыми событиями, исходя из выбранного сюжета, который требует «для себя» установленных в определенной форме языкового протокола фактов. Тем самым он настаивает на своем понимании исторического процесса и предлагает его в воспринимаемой и понятной для реципиента форме. Именно такой способ понимания Л. Минк (Mink) трактует как «конфигурационное понимание», относящееся преимущественно к истории, и отмечает, что этот способ позволяет «...изящное и красиво сбалансированное скрепление элементов...» [193, Р.39]. Подобным же образом высказывается Берлин, говоря, что обладающие воображением великие историки сводят факты в «блестящем синтезе». То же самое имеет в виду и Февр, говоря об историографии, ориентированной на декартов рационализм. Вспоминая работы традиционных историков, он размышляет о том, что «...в области классификации фактов они признавали один-единственный прием: строгое

соблюдение хронологического порядка... Строгое? Мишле сказал бы иначе – умелое» [127, С.15]. Одним словом, Нобелевская премия по литературе, присужденная Моммзену в 1902 году, дала все основания через 70 лет Уайту решать проблему сюжетов исторических повествований сквозь призму «исторического воображения в Европе XIX века».

Анализируя в общих чертах идею сюжетосложения, С. Зенкин подчеркивает ее безусловную плодотворность и привлекательность. Причина этого он полагает в том, что «... уайтовский *emplotment* хоть и имеет линейную форму, но не обязательно совпадает с синтагматикой исторических событий...»; *emplotment* выступает как «...идеальная организация, которую он (историк – М.Ш.) придает событиям, вводя их в иное, неисторическое и, однако же, повествовательное время» [57, С.527]. Вопрос сюжета – это, в том числе, вопрос взаимоотношений между историей и художественной литературы, имеющий столь же давнюю историю, как и сама «философия истории». История и литература – констатирует Барт – это «...два континента: с одной стороны, мир как изобилие политических, социальных, экономических, идеологических фактов; с другой стороны, художественное произведение, на вид стоящее особняком, всегда много-смысленное...» [14, С.208-209]. Даже при наличии коммуникации между этими областями, позволяющей констатировать их эмпирические сходства, сами формы этих областей по своей природе остаются разнородными. Фактические формы, лежащие в основании истории, и формы, обеспечивающие художественность и литературность, контрастируют и противоречат – «...формы сопротивляются или, что еще хуже, изменяются в различном ритме» [там же, С.209].

В таком случае следует утверждать, что сама возможность «взаимопроникновения» разнородных элементов в среде нарратива обусловлена присущностью обоим множествам – и фактов, и нефактических элементов – ритмической структуры как общего формального признака. Происходит взаимодействие ритма удостоверенной хроники и ритма известного сюже-

та, в результате чего на свет появляется нарратив, характеризующийся своим собственным ритмом, ведущим логическое повествование о развитии событий. Зенкин, ссылаясь на исследования семиотической модели нарратива, проведенные Бартом, особо подчеркивает, что взаимодействие фактов, трансформирующихся в события, и сюжета, задающего структуру повествования, происходит «...не как равноправный диалог двух инстанций, а как властное *порабощение* событий структурами» [57, С.532]. А следовательно, процесс производства нарратива не может быть представлен как просто взаимное согласование двух ритмических структур, в ходе которого, как пишет Уайт в «Метаистории...», «историография что-то добавляет к описанию голых фактов прошлого» [124, С.10], разумея под этим «что-то» литературность. Ритм повествования – признак литературности – не добавляется к ритму источников, а пытается подчинить последний себе. (Пре)фигурация приводит к усложнению фактуры исторического поля, порождая конфликт «предварительно упорядоченных» фактических элементов, т.е. ритма источников, – и нормативной структуры применяемого сюжета. В то же время, что отмечено В. Сыровым, такое столкновение есть не только деформация хроники, но и «...усложнение структуры самого сюжета... а также расширение точек зрения на сюжет» [117, С.24]. Очевидно, что факты необходимо сочетаются в рамках и по закону сюжета, однако также очевидно, что даже внутри одного и того же сюжета факты можно сочетать (и счесть) по-разному, с большим или меньшим мастерством.

В ряде более поздних по сравнению с «Метаисторией...» работ Уайт признает существование ситуаций, в которых степень конфронтация фактических и нефактических структур вынуждает исследователя отказаться от выбранного сюжета. Подобное заключение делается им с опорой на вывод о том, что «...нарратив – не простая дискурсивная форма, которая может или не может использоваться для того, чтобы репрезентировать реальные события... но она скорее влечет за собой выбор онтологических и эпистемологических предпочтений...» [206, Р.ix]. Нельзя исключить тот

факт, вторит ему Анкерсмит, что «...новые исторические данные иногда преуспевают в дискредитации некоторых исторических интерпретаций» [2, С.175]. Ладюри считает ситуацию, в которой источники овладевают историком «...навязав собственный ритм, собственную хронологию и собственную особенную правду» [113, С.146-147] типичной. Косвенно это «классическое злоключение» (Ладюри) историка подводит нас к вопросу критерия качества писаной истории, которые не могут быть выведены исключительно из ее информативных или литературных свойств. «Хорошая история», по всей видимости, не тем хороша, что она использует и связывает воедино как можно более широкий набор фактов, а тем, что она написана в том (выбранном) размере, который и созвучен ритму распределения конкретного набора фактов, и не препятствует использованию «сильного сюжета». Всякий подобный размер есть в первую очередь определенная метрическая модель истории и в этом качестве определяет, по мнению Якобсона, для нее как для развертывающегося повествования «...не только предписания и запреты, но и правила предпочтения определенных форм [155, С.257].

Благодаря сюжету факты начинают фигурировать в качестве событий; благодаря фактам сюжет начинает фигурировать как реальное действие. Деформация и ритма фактов, и ритма сюжета приводит к потере каждым из компонентов формальной строгости, что взамен дает эффект их большей привлекательности и достоверности в нарративе. Говоря, что «...роман есть кровный брат истории...» Эко не без сдержанной иронии восклицает: «...есть ли что недостовернее в мире, нежели История... и есть ли что достовернее, нежели Сюжет Романа...?» [149, С.351-352]. При размытии границы истории и романа принципиально то, настаивает Уайт, что эти процессы деформации есть деформация *речи*; они обусловлены языком и происходят в языке. Источники, ведущие речь о прошлом, не знающем логики, равно как и сюжеты, ведущие речь о логике развертывания вне связи с материалом, попадают под юрисдикцию языка, исполь-

зующегося историком. Речь источников и речь сюжетов различна по своему типу: первая является скорее буквалистской, вторая – скорее поэтической. На основании этого различия Уайт утверждает, что «...в самом языке нет критериев, позволяющих различать «правильное» (буквальное) и «неправильное» (фигуративное) использование языка» [124, С.10]. В результате привлекательность нарратива достигается за счет правильности неизвестного содержания, аппроксимированного под заведомую «неправильность» известного сюжета.

Логично предположить, что поскольку нет возможности квалифицировать историю только путем применения или количественных, или лингвистических критериев, ее анализ может быть проведен с помощью паралингвистических терминов, непосредственно связанных с количественными категориями. В роли такого термина, как мы считаем, должен выступать ритм, что позволяет расширить формалистический метод к исследованию процессов создания нарративов. Выбор источников, ритм которых выражает «природу» исторического поля, вкупе с тем, что Уайт называет «выбором модальностей преобразования» этого поля и видов объяснения, определяют возможности и условия их комбинирования, причем «...их комбинации в данном дискурсе фактически бесконечны» [там же]. Кроме того, констатирует Анкерсмит, «...историческое повествование является по существу метафоричным...» [3, С.10], оно всецело принадлежит к области метафоры. А это значит – продолжает он – что «...чем сильнее метафорическое измерение по отношению к буквальному, тем лучше повествование как повествование» [там же, С.11]. С учетом того, что ритм предшествует метафоре как голый механизм всякого переноса, т.е., как говорит Пас, «...ритм – уже метафора, остальные следуют за ней...» [97, С.75], мы склонны утверждать, что историческое повествование по своему составу полиритмично.

Ритм может определяться как повторение и вариации, что подразумевает и различие, и подобие, и появление нового, и безграничные воз-

возможности комбинаторики. Ритмы хроник и ритмы сюжетов вступают в активные взаимоотношения и переносятся друг на друга; происходит взаимное наложение и столкновение ритмов. Несубстанциальность ритма обеспечивает сохранение разнородности материальных носителей – и элементов хроники, и элементов сюжета, – и формальную коммуникацию между ними. В результате происходит формирование нарратива как единства разнородных элементов, которые, будучи нераздельны, в целом составляют базу материальных носителей собственно ритма нарратива, т.е. ритма разворачивающихся в нем событий. В таком случае нарратив существует как своего рода «двойная метафора» или «метафора метафоры». Он выступает метафорой действительности, поскольку на ритм последней накладывается ритм сюжета; в то же время нарратив – это и метафора стандартного сюжета, который усложняется инкорпорацией в него фактического материала.

Кратко говоря, нарратив – это и по необходимости усложненный сюжет, и неизбежно упрощенная действительность. Эффектные организации сюжетов – «...архетипические сюжетные структуры...» по определению Уайта [124, С.491] – вкупе с реальными рядами фактов дают эффект реальности тексту, в котором метрика множества фактических элементов, обусловленная метрикой идеи прошлого, сталкивается с метрикой того языка, которой применяется для описания фрагмента актуального прошлого. В результате происходят метаморфозы, суть которых в подчинении ритмом сюжета – ритма фактов, т.е. в модуляции ритма фактов и подчинения его ритму сюжета – как нормативному метру.

В связи с описанным выше механизмом возникает вопрос: с помощью чего происходит насильственный перенос ритма на ритм? Что выступает в качестве элемента этой метафоры? Если работа такого механизма, как утверждает Уайт, напрямую связана с префигурацией исторического поля (т.е. с актом поэтическим и докогнитивным), то она, образно говоря, сводится к тому, чтобы уловить (законо)мерность ритма еще не написан-



ной истории силой воображения, вооруженного тропами поэтического языка. Обобщая и ссылаясь на Деррида, М. Можейко пишет, что «...постмодернизм выдвигает на передний план такую характеристику мышления... как метафоричность» [87, С.621]; последняя обуславливает возможность акцентуации как одной, так и другого «компонента» метафоры. В данном случае мы сталкиваемся с тем, что отмечает Ю. Лотман при исследовании поэтических текстов: возможен обратимый выбор составляющей, служащей «...ритмическим фоном, обуславливающим освобождение мысли...» [77, С.166]. Функция выражения, напрямую связанная с искажениями и деформациями, использует для своей эффективности множество тропов, каждый из которых – своего рода минимальное отношение, бинарная оппозиция или модуль ритма.

### **3.1.3. Ритмическая природа тропов**

При самом общем определении, базирующемся на терминологии античной стилистики, троп подразумевает художественное осмысление и непосредственно отсылает к процессам создания, расширения и обогащения значения слов. Троп однороден с фигурами речи, он помогает достичь эстетического эффекта ее выразительности и косвенным образом задает стиль представления исходного материала, преобразующегося в характерный текст. Как способ задания формальной структуры осмысления и нормативного упорядочения элементов языковой среды, всякий троп выступает как определенный прием, известный оборот, гарантирующий расширение семантического поля. Эко связывает применение тропов с необходимостью привлечь внимание потенциальной аудитории и убедить ее в чем-либо. Поэтому он, не проводя строгого разделения между риторическими фигурами и собственно тропами, определяет последние как «...украшения, благодаря которым речь поражает своей новизной и необычностью и вдруг оказывается информативной» [150, С.100]. Назначение тропа можно было бы определить как служебное по отношению к информации, передаваемой

текстом, однако художественные тексты распространяют эффект фактичности и на тропы, как и на всякую метафору. В результате складывается ситуация, в которой «метафора становится реальным фактом» (Набоков).

В предисловии к «Тропикам дискурса» Уайт обращает внимание читателя на происхождение своего ключевого понятия: троп происходит от классического греческого термина, обозначающего «поворот», «манеру» или «путь». Латинский вариант понятия тропа ориентирован, в большей мере, на понимание его как фигуры речи. Несмотря на несогласия по проблеме критериев отличия тропа и фигуры, античные теоретики выделяют тропы в отдельную группу именно в связи с их эстетической функцией. Тропизмы, безусловно, относятся к фигуральным аспектам языка. Уайт отмечает непосредственное сходство поэтического языка и музыкального, заключающееся в эквивалентности тропа и музыкального метра, *measure* [208, P.2]. Исходя из этого указания явной аналогии между языками, можно заключить, что фиксируемое Уайтом применение доминантного тропа к «исторической прозе» аналогично применению обязательного метра к ритмическому рисунку «музыкальной прозы» или нормативной метрики стиха к «поэтической прозе».

Следует отметить, что троп является не понятием, а исключительно формой выражения. Гегель, анализируя практику, принятую на вооружение скептиками в качестве способа рассуждения, отмечает, что отличительной особенностью такого приема – оборота или тропа – является его выражение «...не в положениях, а в *известных формах*». Тропы характеризуется им как манера и как «...определенные способы противопоставления...» [36, 2, С.421], преследующие цель показать относительность всякого утверждения через вскрытие оппозиции, неявным образом имеющей место в каждом утверждении. Гегель подчеркивает принципиальную особенность тропов: из их непонятийной формы выражения следует, что они противостоят логическому движению. Аналогично и Уайт определяет тропы как определенные типы фигур, считая повествование о совокупности

событий скорее тропологическим, чем логическим. Тем самым он отдает должное гегелевскому замечанию о том, что тропы «...отнюдь не являются логическими оборотами» [36, 2, С.431], и, дистанцируясь от спекулятивной философии, видящей и ход исторического процесса, и описания этого движения как проблему логики понятий, предлагает своего рода непонятиную логику – логику тропов.

Анализируя в семиотическом аспекте тропы, которые, равно как и текстовые ритмы, принадлежат к формальным признакам литературности, Ц. Тодоров предлагает понимание тропов как способов ввода непрямого значения и как фиксированных «типов отношения». Напоминая, что силлогистика Аристотеля знает четыре фигуры, образующиеся путем комбинаций двух категорий (обобщения и различия), он считает, что те же самые комбинации могут дать определение четырех основных тропов [118, С.374]. Из этого он выводит следующее положение: разница тропов и утвердительных суждений не в природе отношений, лежащих в основе и тех и других; троп акцентирует различие, подчеркивая оппозиционные качества общности, утверждение же выявляет только общность.

Таким образом, троп можно определить как форму выражения, структура которой определяется оппозиционными качествами, и которая может применяться к какой-либо содержательной среде с целью выявления и расширения значений. Барт указывает на то, что троп всегда означает сравнение, которое предполагает наличие главного члена [16, С.90]. Однако сильная позиция не обусловлена содержанием сравниваемого; сравнение выполняет функцию уравнивания, поддерживая номинальную симметрию членов. Если вслед за Уайтом считать, что существуют «императивы тропов», то мы приходим к выводу о том, что функциональность тропа в тексте обусловлена его формальной характерностью, т.е. бессодержательной структурой. Такому заключению можно найти косвенное подтверждение и в кантовских выводах о необходимости схематизма для

синтеза, и – ранее – в философии Секста Эмпирика, утверждающего, что тропы – это схемы, по которым что-то строится [114, С.194].

Анализируя стратегию Уайта, Кукарцева признает тот факт, что определенному тропу – как конкретной поэтической форме – соответствует определенный ритм. И хотя вопрос о том, «...на каком именно уровне исследования исторического начинают функционировать тропы...» [70, С.151], вызывает обоснованные разночтения, можно заключить, что поэтизация прозы исторических данных есть наложение ритмической структуры тропа на ритмическую структуру исторических источников. К тому же мнению приходит и А. Ашкерov, анализируя уайтовские компоненты «истории», соответствующие иерархически выстроенным срезам исторического повествования. Из пяти уровней, располагающихся «по возрастающей» – хроника, история, тип сюжета, тип аргументации, идеология – к области поэтики относятся лишь три последних. Это свидетельствует о том, что статус «собственно истории» и «хроники» выносятся за пределы детального рассмотрения предлагаемым методом, поскольку представляют уровень исторической «прозы». Но Ашкерov уверен, что «...именно исследование этих «примитивных уровней» могло бы поспособствовать раскрытию... взаимосвязи хода истории со становлением способов и средств символической кодификации,... определяющей ритмы и поддерживающей циклы исторического процесса» [11, С.93].

Есть основания утверждать, что в основе тропологической теории лежит принцип подчинения ритмики фактической действительности – метрике формы исторического повествования. В пользу такого заключения может свидетельствовать и тот факт, что «теория поэтизации» Уайта отсылает – по утверждениям ее автора – к теории Дж. Вико, по убеждению которого в одну группу «поэтического выражения» входят эпизоды, обороты, ритм, песня и стих [33, С.176]. Образно говоря, «формы истории», в которые – с применением того или иного тропа – облекается информация о прошлом, представляет собой своего рода метрические матрицы, сходные

по своим функциям с метрами, лежащими в основе размеренной (мензуральной) музыки. Применяемая к фактическому материалу необходимая для его выражения поэтизация, на которой настаивает Уайт, может в полной мере мыслиться как производимая любым *искусственным* образом параметризация информации. Приемы искусства, применяемые для создания значащих текстов, обуславливают одну из существенных черт любого нарративного знания, отмеченную Лиотаром, – «повествовательная форма подчиняется определенному ритму, она является синтезом метра...» [73, С.58]. Это значит, что нарратив, синтезируя свой метр, «навязывает» его тому материалу, который будучи естественно (т.е. хронологически) параметризован, участвует в создании нарратива. В приложении к практике исторического повествования можно сказать, что при помощи тропа историк «берет в оборот» фактическую базу исторического поля для того, чтобы «исполнить» ее в наиболее адекватном для своей предполагаемой аудитории ключе.

Здесь следует обратить внимание на следующий нюанс: имеется конечное число используемых сюжетов, равно как и конечное число применяемых тропов, и каждый сюжет (или троп) есть *известная* форма, т.е. форма, определенная вне связи со «своим» содержанием. Фуко усматривает непосредственную связь между применяемым к материалу, на основе которого создается повествование, концептом и формами, в которые облекаются события, описывающиеся в тексте. Он считает, что историк приписывая событиям прочность и значимость в единстве их следования, деформирует их фактическую форму, «...сближая их с сущностными формами через наделение концептуальным хребтом» [130, С.443]. Уайт постулирует использование четырех тропов, не давая объяснения именно этому набору; однако в любом случае следует признать, что концептуальная форма (сюжет, троп) выбирается исследователем из ограниченного количества уже имеющихся форм, которое предоставляет культурно-исторический архив. Но, поскольку эти формы, практика их применения и

механизмы их действия известны, в полной мере справедливо подмеченное Й. Хейзингой правило, согласно которому традиционные сюжеты как бы сами собой обладают ритмическим строем, пронизаны определенным ритмом [135, С.307].

О том же, со своей стороны, ведет речь и Б. Шкловский, полагая, что «...сюжет и сюжетность являются такой же формой, как и рифма» [144, С.60]. А так как рифма – в поэтическом произведении – выступает формой, подчиняющей себе все остальные артикуляции, членения и длительности, следует сделать вывод, что в этом смысле выбор сюжета заранее подчиняет материал известному принципу организации. Таким образом, применение тропа есть использование известной манеры (стиля) упорядочения, применяемой к еще неизвестному (но уже предварительно упорядоченному в рядах) материалу. Это своего рода «настройка» примитивных данных на определенный лад, введение нормативной интонации, стиля инструментовки в среду артикулируемых элементов, «исполнение» определенного, но бессмысленного множества в известном ключе – формальным образом, не затрагивающим его содержательных аспектов.

### **3.1.4. Особенности синтеза нарративного мира прошлого**

По всей видимости, на манеры упорядочения в значительной степени влияют особенности человеческого восприятия, к которым следует отнести, в первую очередь, узнавание известного. Форма подачи информации в значительной степени определяет степень приемлемости этой информации; при этом знакомая форма инициирует изначально ориентацию наприятие, а не на отторжение. В этом смысле действие тропа категорично; он работает как жесткая форма изложения вне связи с содержанием излагаемого. «Подведение под троп» в понимании Уайта аналогично, как отмечает Анкерсмит, подведению под категорию в понимании Канта: и тропы, и категории играют сходную роль. Означенное сходство есть результат «квазикантианской эпистемологии» Уайта и заключается в «...бесспорных

соответствиях между способом, которым тропы организуют историческое знание, и тем, как пространство человеческого опыта организовано кантианскими категориями понимания» [2, С.81].

Здесь следует остановиться на одном принципиальном вопросе. Из вышеуказанной аналогии между тропами и категориями следует, во-первых, то, что и те, и другие организуют пространство опыта. Как мы выяснили выше, в нашем случае пространство опыта – это историческое поле. Именно историческое поле, параметры которого определяются ритмом источников, должно стать интеллигибельным путем подведения под троп. Т.е. ритмически организованный материал исторического поля подводится под формальные компоненты законов, по которым действует заведомо метафорическое мышление. Другими словами – если пробовать говорить кантовским языком – историческое поле префигурируется при помощи априорных функций, абстрагированных от самой деятельности, а следовательно, субъективная концептуальная схема, лежащая в основании исторического поля, форматируется элементарными рассудочными понятиями. А это означает, во-вторых, что с помощью отвлеченных от всякого конкретного содержания тропов (работающих «категорическим образом» и обеспечивающих получение собственно знания) вариативное концептуальное единство трансформируется в понятийный инвариант единого целого. В таком случае можно сказать, что применение тропа предлагает определенную репрезентацию концепта, превращая непонятное историческое поле (как задачу) – в понятный мир прошлого (как решение). Что означает: налагает ритм познания на сфокусированные концептом ритмы становления прошлого.

Такой вывод подтверждается делезовской трактовкой существа категорий в кантовской системе. Согласно ей, «...категория сообщает синтезу воображения единство, без которого тот не давал бы нам какого-либо знания в строгом смысле... », следовательно, от рассудка зависит «...не сам синтез, а единство синтеза и *выражение* (курсив наш – М.Ш.) этого един-

ства» [51, С.161]. Но если мы говорим, что актуализация идеи прошлого требует работы воображения, и «...вечное возвращение должно мыслиться как синтез...» [47, С.119], то, следовательно, установленное прошлое уже синтетично, а применение тропа (как категории) есть акт некоего «второго синтеза». Созидаемый тропически «второй синтез» налагает известную (и приемлемую для рассудка) форму отношения между компонентами вообще – на непознанные компоненты, в качестве которых выступают элементы исторического поля, организованные в ряды (серии). Тем самым сюжетная линия в силу своей (со/за)вершенной формы превращает историческое поле в «мир прошлого», т.е., говоря кантовским языком, в «завершенную серию», доступную пониманию.

По словам Уайта, историк стремится построить «нарративную вселенную». Цель состоит в том, чтобы создать «мир прошлого», в котором действуют определенные законы и принципы, т.е. существуют объективные отношения между познаваемыми вещами. Такой мир, согласно внутренней логике трансформаций, движется по своей траектории к своему концу, и, как система, имеет свою историю как историю своих состояний. Исторический мир как «завершенная серия» – подобно физическому миру – имеет начало и конец; он начинается с «большого взрыва» (со второго утверждения становления) и устремляется к «тепловой смерти» («концу истории»). В контексте этого сравнения миров, адекватно и продуктивно прочитывается утверждение Делеза о том, что «...термодинамика отрицает вечное возвращение» [47, С.114]. Действительно, с момента обретения своего «нарративного бытия», т.е. «отрыва» от стихии «вечного возвращения» прошлого посредством применения *тропа*, оборачивающего прошлое в смысловую форму, мир подчиняется основному закону термодинамики – закону *энтропии*, нивелирующему порождающие этот мир различия. Собственно энтропия (εν τροπή) означает, что мир историчен, – т.е. изменяется безвозвратно и потому есть смысл обратить внимание на его изменения; как система он описывается функцией, характеризующей его состояния и



возможные изменения этих состояний. В этом аспекте мир имеет историю как последовательность своих состояний, череда которых ведет ко все большей его гомогенизации.

Правдоподобие мира, предлагаемого нарративом, состоит в том, что формы причинности, которая действует в этом мире, ассоциируются с той формой причинностью, которая не входит в конфликт с результатами обыденного опыта. Поэтому такой мир потенциально понятен, узнаваем и приемлем. При его построении учитывается хронологический порядок фактических элементов, к которому добавляется вездесущий комментарий, составленный из элементов фигуральных. Последние создают «события отношения» между фактическими событиями, т.е. предлагают версию причинного построения, не противоречащую ни хронологическому порядку, ни привычным ощущениям причинности. По сути, нарративный мир прошлого есть «подмена» метафизического мира – лингвистическим; в нем теория об исторических явлениях заменяется теорией о языковых явлениях, касающихся исторического. А в этом случае, считает Анкерсмит, возможна «объективность» и проведение принципов историзма, действующего как «безупречная теория истории» [2, С.120]. Нарратив формирует историю как множество с замкнутой топологией, т.е. как целостность, обладающую конечной суммой имманентных смыслов и единым ритмом бытия. Это позволяет, в частности, выдвигать предвидения, остающиеся, правда, функциональными в пределах только этого нарратива, т.е. именно для этой истории именно этого мира прошлого.

Как ни парадоксально, но в результате нарративного использования языка миры прошлого создаются «по-гегелевски»: к каждому из них приложимы те принципы протекания внутренних процессов, которые декларируются спекулятивной философией истории. Каждому такому миру соответствует своя логика изменения форм, своя осуществляющаяся «идея истории», свои телеологические перспективы, свой ритм движения и свой «конец» истории. Последний знаменует собой исчерпание смыслов этого

мира, оскудение его лингвистической реальности, которое влечет за собой невозможность дальнейших интерпретаций, и подчеркивает необходимое появление другого мира того же рода. Это противоречит убеждению Р. Коллингвуда в том, что «...имеется только один исторический мир...», история которого должна быть непротиворечивой, а «чисто воображаемые миры не могут вступать в противоречие и не обязаны согласовываться друг с другом» [65, С.234]. Подразумевается, что всякий исторический мир предполагает множество со-возможных миров. И, следовательно, по отношению к миру прошлого, который порождается языком и в языке, в полной мере можно отнести слова Ницше о том, что фактов нет, есть только интерпретации. В суммирующих основные положения своей концепции «Тезисах о нарративной философии» Анкерсмит определяет онтологию нарративного мира прошлого как онтологию исторического текста. Утверждая, что «онтология есть систематизация интерпретации» [2, С.125], он замечает, что мы интерпретируем тогда и только тогда, когда обладаем в избытке материалом для интерпретации. Безусловно, количество фактических элементов, использующихся в историческом тексте, ограничено; следовательно, для того, чтобы генерация смыслов не прекращалась, интерпретации подлежат все элементы текста.

Поэтому оказывается, что именно художественные элементы исторического текста наиболее ярки; они вызывают наибольшую интенсивность обсуждения и подчеркивают особенности написанных историй. Приходится констатировать, утверждает Р. Беркхофер, что письменные истории – это «...в большей степени структуры интерпретации, чем структуры фактуальности» [169, Р.57]. Об этом свидетельствует и практика умножения исторических текстов без заметного привлечения к их производству нового фактического материала. Имеющийся в наличии объем результатов специальных исторических исследований очерчивает историческую тему, которая практически неисчерпаема на письме. В итоге количество историй-текстов по теме, фактическая подоплека которой установлена

и, можно сказать, является на текущий момент константой, не ограничено. Поскольку референты этих историй находятся в пределах описаний, колеблющихся на плохо различимой границе исторического трактата и романа, каждая история ссылается на те объекты, конституция которых (как потенциальных референтов) установлена в рамках конвенции конкретной исторической тематики. С учетом того, что правила сочетания фактов при написании истории не регламентируются, а действенность и значимость готового произведения искупает любую подозрительность к приемам его создания, текст истории структурируется так, чтобы одновременно решить проблемы и подлинности, и занимательности. Вопрос о подлинности истории, развивает свою мысль Беркхофер, отсылает к фактуальности, аутентичность ссылается на факты, интерпретативные структуры преподносят документальные свидетельства. При чем особенностью такой истории следует считать то, что «...структура интерпретации создается так, что она кажется структурой фактуальности...»; т.е. она создается «...по образу фактуальной структуры» [там же, Р.60]. За счет этого возникает эффект большего смыслового наполнения истории, повышающий ее значение.

Приходится признать, что, с одной стороны, особое значение получает повествование, в котором превалируют нефактические элементы, однако, как замечает Якобсон, «...фиктивность этих сущностей не имеет отношения к вопросу об их семантической значимости» [153, С.237]. С другой стороны, намерение отыскать в истории смысл не пренебрегает, – как следует из наблюдения Беркхофера – формальными признаками структуры хроники, лежащей в ее основании, хотя и склонно ориентироваться на имеющийся текст в целом. Это значит, что формальные признаки исторического текста должны быть адекватны формальным признакам исторического поля, корреляцию с которым текст поддерживает. Формальным признаком исторического поля служит, как мы уже выяснили, его метрика, т.е. концептуальная суперпозиция ритмов рядов, задающих это поле. Тем самым мы (который раз) возвращаемся к мысли, озвученной Венном, об адек-

ватности ритмических особенностей исторического текста – и «ритма источников».

Анализируя отношения текста, его источника и искомых смыслов, Эко замечает, что «текст может присваивать ритм той реальности, вместе с которой он воспроизводится и которую он переосмысливает» [148, С.69]. Из этого следует, во-первых, что реальность, тем или иным образом воспроизводящаяся в тексте, уже обладает собственным ритмом. Играя словами, можно сказать, что если даже реальность лингвистична и «нет ничего вне текста», то вне него есть пусть не «сама» реальность, но ее ритм. Во-вторых, присваивание ритма реальности текстом остается на уровне благих пожеланий при производстве истории. Поскольку текст создает собственную реальность, он не находится в состоянии долженствования по отношению к той гипотетической реальности, которая выступает поводом для текста. Другими словами, текст как генератор смыслов может, но не обязан идти на поводу у ритма источников (т.е. строго придерживаться фактов), поскольку, как подчеркивает Рюзен, всегда «...смысл истории находится вне различия между фикцией и фактом» [198, Р.89].

Таким образом, возникает ситуация, в которой погоня за смыслом исподволь открывает шлюзы для потока исторических текстов, все больше отрывающихся от исторических источников за счет весьма свободно регламентированной художественной комбинаторики. Фигуры сюжетов, использующихся в таких историях, преследуют возможность оценить и постулировать большую значимость одних событий по сравнению с другими, для чего вводят почти независимую от фактуальной структуры систему мифологических координат и приоритетов. Предельная литературная облегченность текстов достигается через ритмизацию повествования посредством сугубо семантических и стилистических жестов, что создает, как отмечает В. Шмид, картину мифического мира, орнаментальной прозы, где исчезает собственно история [145, С.194, 264]. Нарративное использование языка в пределе своих возможностей способно размыть рациональные

компоненты истории, сведя ее к практически чистому художественному произведению, лишь формально схожему с научным текстом. Перед лицом такой перспективы, которую, зачастую, игнорируют радикальные постмодернистские проекты, возрастает важность анализа альтернативных возможностей осмысления до-языкового исторического поля.

### **3.2. Не-лингвистически ориентированная практика истории**

Рассмотрение нарративной практики истории как единственно возможной формы исторического письма есть, в определенном смысле, движение к иррациональной позиции, отсылающей, в свою очередь, к тезису Шопенгауэра о необходимо мифологическом характере форм истории. В этом случае историческая действительность выступает как легитимный результат социальной конвенции. Для нее резервируется известная и подчеркнута литературная форма выражения, что подчеркивает тождественность двух мифических форм – формы, наполняемой истинным содержанием, и формы, наполняемой исторически действительным. В таком представлении история предельно сближается с мифом, будучи своего рода воспроизводящейся формой, которая, как говорит Шопенгауэр, только «... притворяется, что каждый раз рассказывает другое...» [146, С.490]. Выходит, что область практического применения результатов исторических исследований с необходимостью облекает последние в форму мифа.

Такая угроза, не только стирающего грань между историческим и художественным текстом, но и смешивающего историю с мифологией, вызвала бурную ответную реакцию в первую очередь у историков, небезразличных к философским аспектам своего ремесла. При всей плодотворности исследований лингвистических механизмов создания историй, онтологизация исторического текста не могла быть встречена с особым радушием у представителей академической среды, придерживающихся традиционных основ своей профессии. Спектр мнений касательно постмодернистских стратегий оказался достаточно широк. Налицо разброс мнений от аг-

рессивного неприятия (по большей мере свойственного социальным историкам) до поиска конструктивного диалога (более свойственного структуралистам). К защите истории от фуколдиански настроенных «орд интеллектуальных варваров» призывает Р. Эванс (Evans) [179, Р.8]; с явно выраженной антипатией к философии истории выступает А. Марвик (Marwick), ратующий за эмпирическую эпистемологию, посредством которой возможно необходимое для исторической практики использование «последовательных профессиональных стандартов» [189, Р.293]. Однако очевидно, что подчеркнутый методологический консерватизм не отвечает требованию современности и, являясь, скорее, демонстративной позицией, не обеспечивается в полной мере применяемыми на практике приемами. Как констатирует, анализируя сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, Л. Репина «в связи с формированием постмодернистской парадигмы и изменениями в общей эпистемологической ситуации гуманитарных наук произошел переворот в профессиональном сознании и самосознании историков...» [106, С.7]. Необходимость пересмотра привычных представлений и об исторической дисциплине, и о профессии историка требует как новых форм теоретизирования, так и новых направлений исторических исследований.

Так, например, критикуя неумеренную постмодернистскую позицию, отстаивающую допустимость т.н. «новой мифологии», Макнил изобретает намеренно уродливое (по его словам) определение – мифистория (mythistory), выражающее его отношение к некоторым современным историческим «продуктам» [190]. В то же время, признавая наличие проблем, вытекающих из специфики исторического знания, он соглашается с тем, что утверждение реальности единого целого, организованного историком, происходит на уровне некоего обобщающего выражения, имеющего метафорический характер. Надо отдавать себе в отчет в том, – продолжает Макнил, – что «...эта метафора, заимствованная у художественной истории, является только метафорой и почти бесполезна в фактической прак-

тике...» [191, Р.308]. Однако нельзя отрицать и то, что всякая применяемая метафора имеет под собой конкретные результаты эмпирического исследования. Можно дебатировать каждый термин подобного рода, но самой исторической дисциплине не свойственна слишком строгая терминология. Требование же полной определенности подобных терминов приводит к тому, что «...дискурс сразу нисходит в эпистемологические дебаты и никогда не получает возможности выйти из этого лабиринта» [там же, Р.309]. Из этого следует, что любые утверждения о сугубо языковой реальности объекта, описываемого историческим текстом, должны учитывать тот языковой уровень дискурсивной практики, который выступает в качестве повода для появления этого объекта.

При всех радикальных заявлениях о языковом конструировании описываемой исторической реальности, в рамках нарративной философия истории не звучит полное игнорирование наличия оперативных фактических данных. Проблема операций с этим материалом в свете отрицания возможности прямого доступа к прошлому не приводит к отрицанию необходимого существования фактической базы данных как таковой, элементы которой являются неустранимыми коррелятами нарративных субстанций. Анализируя под этим углом зрения концепцию Анкерсмита, В. Стрелков приходит к выводу о том, что ориентация на работу с текстуальной реальностью обусловлена обеспокоенностью процессами умножения смыслов, но не абсолютно автономных фикций. Прошлое не представляется обязательным порядком как «заповедник любых мифологий» (Борхес). Поэтому язык, в котором создается и наделяется бытием мир прошлого, служит указателем на то, что фактически дано; это означает, что «языковое поле субстанциально, ибо является генератором смысла. Но его субстанциальность обусловлена его открытостью не-языку, не-смыслу, не-речи» [115, С.137]. Следовательно, языковое поле выступает в качестве поля специфических указателей на предвещающее его (не/вне)языковое поле, т.е. на синтаксически не обустроенное поле грамматики данных. Безусловно, в этом случае

«данные» понимаются не в русле спекулятивной философии – как генетически связанные со своим известным разрешением и предвещающие его данности (Vorrat). Речь идет о том неустранимом «археологическом» (Фуко) уровне или слое (не/бес)цельного констатирования, который «амифичен» (Лосев), обращение к которому порождает ряд вопросов о том, можно ли его считать «историей», но не ставит под сомнение его историчность.

Одним из самых болезненных остается, безусловно, вопрос о представлении исторической реальности, влекущий за собой непрекращающуюся дискуссию о природе последней. Ориентация на рациональное понимание, смыкающееся с «реальным историзмом» вызывает естественное неприятие любой «тропологической» теории, в рамках которой доступ к прошлому самому по себе оказывается закрыт, а познающий субъект вкупе с использующимся им языком оказывается ни индифферентной передаточной инстанцией, ни идеальной зеркальной поверхностью, ни прозрачной сущностью. Как признается Уайт, «тропическое – это тень, которой пытается избежать всякий реалистический дискурс» [208, Р.2], и тень неизбежная. Если даже согласиться с тем, что реальность говорит языком фактов, то приходится признать и то, что историк встраивает факты в сюжетные схемы, отходя от языка реальности и навязывая ей другой язык, который инфицируют тропы – «сновидения речи» (Набоков). Кроме того, как заверяет Анкерсмит, не может быть такого метода, который позволил бы смотреть на реальность, т.е. на прошлое, сквозь выбранный язык, а ведь только «...смотря *сквозь* письмо и язык, мы... можем наблюдать ритмы природы и реальности сами по себе» [2, С.173]. Из вышесказанного мы можем заключить, что основными камнями преткновения в теории истории и философии истории остаются вопросы языка и метода.

Трудно спорить с дипломатическими утверждениями А. Гуревича, сводящимися к тому, что постмодернистская критика обнажила «...действительные слабости в методологии историков» и еще раз недвусмысленно напомнила о том факте, что у историков «...нет собственного



профессионального языка...» [42, С.7-8]. Но если само понятие «исторического метода» ставится под вопрос, то областью, где производятся попытки в какой-то степени отстоять возможность реалистического дискурса, остается язык – заведомо заимствованный, взятый на вооружение.

Несмотря на кажущуюся спаянность языка и действительности, особенность их отношений характеризуются тем, что можно назвать некоторой формальной адекватностью, структурной сопряженностью. Этот момент усматривается в рассуждениях Анкерсмита об эффектах, сопровождающих нарративное использование языка. С его точки зрения «...отношение между языком и действительностью *систематически* (курсив наш – М.Ш.) дестабилизировано; язык нарративов может нарушить баланс между языком и действительностью, так как обладает собственной автономией» [2, С.212]. Из сказанного можно сделать вывод, что определенное отношение, все-таки, имеется и, более того, в нем наблюдается некоторая системность. Подтверждая различие между утверждениями и их использованием в нарративе – как между сингулярностями и цельностью, – Анкерсмит говорит о своего рода «историографической адекватности», которая не отменяет, однако, защищаемое им положение об автономности нарратива. Очевидно также, что во всяком утверждении дается ссылка на действительность, равно как и то, что никакое утверждение не появляется «на ровном месте». В пользу последнего тезиса говорит и исследование Бартом исторического дискурса, одним из результатов которого стал вывод о том, что «...исторический дискурс не следует реальности, а всего лишь обозначает ее, все время твердя *это было...*» [13, С.440].

При всей декларируемой автономии исторического нарратива от исторической действительности, такая автономия, разумеется, не подразумевает аномию. Другими словами, автономность нарратива не означает его полной произвольности по отношению к действительности, что, в свою очередь, позволяет говорить об этом отношении как о некоем выполняющемся соответствии, параметры которого достаточно гибки. В конце кон-

цов, мы даже вправе задать и несколько схоластический вопрос: если полагается автономия, то автономия от чего? Не следует ли признать, что есть нечто, столь же автономное по отношению к нарративу? Ведь автономия – это некоторый вид отношения; утверждая ее относительно известного члена этого отношения, мы тем самым вынуждены констатировать наличие другого, неизвестного члена, находящегося в отношении автономии с первым. Альтернативой (точнее – визави) нарративу, живущему по своим законам и в соответствии со своей логикой выступает некоторая действительность; некое поле, имеющее (не/пре)нарративную структуру, к элементам которой и отсылают дискретные утверждения относительно прошлого, использующиеся в дальнейшем в нарративах. Нельзя не признать тот факт, пишет Анкерсмит, что «исторический текст состоит из индивидуальных истинных утверждений, в то время как все их количество – это репрезентация, предложенная историком...» [163, Р.154]. Из этого логично сделать вывод, что дебатированная автономия касается той *целостности*, которая играет роль репрезентации, но не распространяется на *множество* утверждений, взятых до их объединения в рамках этой целостности.

Таким образом, вырисовывается специфическая роль утверждений, которые, с одной стороны, не дают возможности нарративу в полной мере оторваться от исторической действительности, а с другой – не препятствуют своему использованию в нарративе наряду с фигуративными элементами его языка. Нестабильное отношение языка и действительности в нарративе обусловлено, как доказывает Анкерсмит, тем, что нарратив является местом рождения нового значения. Такое генерируемое значение по определению не является буквальным; «...буквальное значение требует фиксированного отношения между языком и действительностью» [2, С.126]. Однако сами утверждения, использование которых позволяет умножение значений, отсылают к действительности буквально, т.е. не дают порваться связи между нарративными субстанциями и «последним прибежищем историографии» (Анкерсмит) – координатами фактических элементов. Оче-

видно, что связь эта не референциальна; утверждения не выступают утверждениями о наличии реальных объектов и не свидетельствуют в пользу их реальности. Но множество подобных утверждений адекватно некоторой формальной схеме, эскизу гипотетической действительности, в котором выдержаны соотношения элементов без указаний на существо последних.

Предъявляя претензии к кантианской эпистемологии, Анкерсмит говорит, что для ее функционирования не имеет значения что представляет собой объект познания – реальное лицо или портрет, реальный пейзаж или его изображение. Однако в том случае, когда нас интересует получение информации о количестве элементов определенного типа, не столь важна природа познаваемого объекта. И по портрету, и по лицу мы можем определить количество элементов, поименованных нами как «глаза» или «губы»; аналогично и по картине, и по пейзажу мы можем дознаться о количестве «деревьев» или «облаков». Безусловно, для того, чтобы составить представление о персонаже или виде в целом, мы будем вынуждены прибегнуть к описанию, а значит и столкнуться с «прискорбной особенностью репрезентации» – т.е. с тем фактом, что надежные «...крепления, привязывающие язык жестко к миру,... оказываются недостающими в репрезентации» [162, P.425]. Преследуя репрезентативную цель, мы встаем перед необходимостью разбавить множество единичных констатирующих утверждений о числе и расположении отдельных элементов с помощью метафор, синтезирующих на базе этого множества определенный вариант значимого целого. Однако это целое, так или иначе, сопряжено с контекстом, который задается сводом утверждений, отвечающих за своего рода эпистемологический контрапункт. Как замечает Робертс, задание общности установленных отдельных фактов о прошлом «...требует изобретения фона, контекста, тотальности...», поскольку только такие изобретения «...необходимы для трансформации коллекции сингулярностей в значащее целое» [197, P.253].

В таком ракурсе становится понятно, почему Анкерсмит говорит о том, что «... метафора определяет, организовывает, и структурирует контекст» [163, Р.153]. До «применения» метафорического мышления мы сталкиваемся с полем скоординированных сингулярностей, представляющим собой не более, чем множество, удерживающееся на основании предпосланного ему концептуального единства. «Если бы метафорическое измерение было бы устранено из языка, – поясняет Анкерсмит, – наше представление о мире немедленно распалось бы на несвязанные и трудно обрабатываемые единицы информации» [3, С.298]. На неметафорическом языке невозможно сформировать представление, т.е. охватить мир понятийной системой; но такого языка вполне достаточно, чтобы очертить распределение множества эмпирически удостоверенных элементов. Такое множество ничего не значит; оно индексирует разрозненность элементов (этим сообщая им единство) и является, образно говоря, подготовительным материалом, который *может* быть представлен в виде того или иного значимого целого. Более того, такое множество имеет определенную топологию и метрику; как мы выяснили ранее, оно представляет собой концептуальное собрание различных элементов, в котором всякое последующее проведение какой-либо целенаправленной линии осмысления порождает мир со свойственным ему одному ритмом «реального бытия». Таким образом, это множество элементов является своего рода и материалом, и реестром предпочтений по исполнению этого материала в ключе одного из возможных описаний, т.е. историй. Это множество является результатом первого, концептуального, но не категорического синтеза, «тормозящего» в определенной ритмической фигуре вечное становление прошлого. Метафора же, повторяет Анкерсмит, «...синтезирует наши знания о мире» [там же]. Т.е. она играет роль второго, категорического синтеза, овеществляя в понятийной среде нарративный мир прошлого, выглядящий «...бесконечно длинным списком высказываний, которые *можно* (курсив наш – М.Ш.) сформулировать об исторической реальности» [там же, С.207-208]. Другими

словами, нарративный мир прошлого предлагает бесконечную *сумму* возможных высказываний об исторической реальности, обусловленную ограниченным числом дискретных утверждений о прошлом.

Утверждения о прошлом выполняют роль индексаторов реальности как контекста, о котором ( и в котором) может начинаться тот или иной рассказ; однако, как замечает Кукарцева, «...индексирование реальности не совпадает с рассказом о ней» [69, С.42], поскольку рассказ нуждается в метафорах. Использование метафорических средств дает возможность создания описания (т.е. исполнения) этого «положения вещей»; но контекст до его метафорической обработки представляет собой некий примитивно организованный список, или даже, как говорит Анкерсмит, партитуру. Особенность такой записи состоит в том, что «партитура – это не описание музыки»; она «...своего рода руководство или инструкция...», «однако руководства или инструкции не дают описания результатов действий, которые они предписывают выполнить» [3, С.33]. Тем не менее, они предшествуют этим действиям. А продолжая предложенное сравнение с партитурой, можно отметить, что она уже содержит указания на размерность того, что следует исполнить.

Нарратив представляет собой двухуровневую структуру: в ней можно распознать, считает Анкерсмит, «...более низкий уровень фактических высказываний...» об элементах, принадлежащих и выделенному промежутку времени, и «...уровень общих замечаний, касающихся сути определенного исторического периода» [там же, С.46]. При всей сложности проведения границы между этими уровнями, продолжает Анкерсмит, «в нарративе первый уровень подготавливает второй...», и «...нельзя сомневаться в существовании этих уровней» [там же]. Однако, что может означать такая структура нарратива, и какие возможности анализа действительности появляются при различении вышеуказанных двух уровней? Связь первого и второго уровня не есть связь «по существу»; но это соразмерность «по образу и подобию». Нарративное использование языка, включающее весь

арсенал метафор и обобщений, соответствует, безусловно, второму уровню. В таком случае первому, подготовительному и, следовательно, еще не описательному в полном смысле слова уровню фактических высказываний, соответствует не-нарративное использование языка. Или, другими словами, на этом уровне может работать язык констатирующий, буквальный, ничего не говорящий «по существу», не объясняющий, но претендующий – в силу своей косности – на роль языка универсального.

### **3.2.1. Констатирующий дискурс структуралистской истории**

Как пишет Барт, «для того, чтобы История ничего не значила, нужно, чтобы дискурс сводился к никак не структурированному ряду записей: это происходит в хрониках и летописях (в чистом их виде)» [13, С.437]. При всей сомнительности такого явления как «чистая» хроника, следует отметить главное: представляется возможным дискурс, который сведен к грамматике записи и не претендует на расширение семантической сферы. В равной степени и оксюморон «неструктурированный ряд» указывает на отсутствие не вообще какой бы то ни было, а синтаксической структуры. Как мы уже упоминали выше, сходного мнения придерживается и Фуко, с точки зрения которого «чистый» дискурс, скорее, отрицает семантику. Но что в таком случае может означать история, не имеющая значения? По всей видимости, это хронологически упорядоченная последовательность фактических констатаций, которые говорят односложным языком, роль которого играют даты, цифры, количества, степени интенсивностей, статистические таблицы, процентные исчисления и т.п. Метафизическая позиция, как мы упоминали выше, не считает эту область собственно историей; структуралистский дискурс настаивает на противоположной точке зрения. У такой истории, продолжает Барт, наблюдается «...несовершенство повествовательной структуры...», потому как ее дискурс образуется «...отдельными *рядами* фактов, лишенными завершения...» [13, С.438]. Подобный язык истории оказывается практически лишенным полнокров-

ного лингвистического измерения, и будет представлять своеобразную попытку максимального ухода от нарративного объяснения. Исследуя особенность такого языка, Трубина считает его своего рода языком рапорта: и рапорты, и нарративы имеют в виду произошедшие события. Однако рапорты «...отличаются от нарративов тем, что не объясняют, не отвечают на вопрос, почему некто сделал что-то в некоторый момент времени в некотором мире...», вследствие чего рапорты «...могут быть рассмотрены как нарративы, которым недостает оценки» [123].

Повышенный интерес как к лингвистическим аспектам исторического знания вообще, так и к развернутым оценочным суждениям в частности не приветствуется в рамках традиций, заложенных школой «Анналов». Как подчеркивает Кукарцева, в русле этой школы, представляющей одну из «...онтологических подсистем философии истории», приоритетным направлением является, напротив, «...описание исследуемых структур любым не-нарративным методом» [70, С.42]. История такой ориентации напрямую восходит к деятельности патриархов школы – Февра и Блока, развитие исследовательских установок которых дало жизнь не одному поколению историков, и подготовила почву для развития многих концепций, использующих количественные методы. Как отмечает Рюзен, представители школы «Анналов», оставаясь на правах структуралистской истории в русле модернистской исторической науки, «...представили иные концепты единства, которые мы называем историей...», неявно строя свои теории и откровенно «критически относясь к историцистской идеалистической идее истории...» [111, С.17-18]. Использование анналистами статистических методов анализа, выдвигающих на первое место роль чисел, инициировала развитие такой манеры создания исторических текстов, которая явно отличалась от привычного для историков языка. В то же время, примеры стиля ряда представителей школы «Анналов» и, в частности, манера Броделя, приводят к мысли о том, что это отличие не следует понимать как полярное. Поскольку «использование статистики обслуживает и научные, и риторические це-

ли», подчеркивает Ф. Каррард, жесткое противоположение численных показателей и метафор невозможно, а всякое формирующееся относительно их соотношения «...строго бинарное представление является заблуждением» [173, Р.173-174].

Когда Уайт говорит, что «чисто буквалистское описание того, «что произошло» в прошлом, может быть использовано только для создания анналов или хроники, но не «истории» [124, С.13], мы получаем дополнительный ключ для того, чтобы понять весь пафос анналистов. Основные структуралистские положения аналитической деятельности историка (известные, преимущественно, по творчеству Броделя), взятые на вооружение представителями школы, были направлены как против «событийной истории», так и против истории «всемирной». Критике была подвергнута также и практика повествования, полагавшаяся собственно историческим методом. Как подчеркивает И. Валлерстайн, анализируя складывавшуюся ситуацию, школа «Анналов» составила оппозицию и тем, «...кто рассматривал социальную науку как номотетическую, т.е. занятую поисками универсальных законов...», и тем идеографически ориентированным историкам, которые «... воспринимали социальные явления как атомистические по своей природе...» [26, С.187]. Кроме того, как замечает Бродель, «...история-рассказ тоже являет собой философию истории, а вовсе не некий метод или объективный метод по преимуществу...» [24, С.21]. Не повествующая (в привычном смысле слова) история тоже способна предложить достойную методологическую альтернативу повествованию.

Бродель сторонник той точки зрения, что единый ход истории существует, но эта уверенность зиждется на специфической трактовке самого единства, которое понимается не как данность, а как результат суперпозиции ритмов изменений, происходящих на многих скоординированных между собой уровнях. Наиболее общая схема отмечает три таких уровня. Неподвижная история взаимоотношений человека со средой, «...зачастую сводящаяся к... беспрестанно воспроизводящимся циклам» [там же, С.20],



покрывается социальным слоем – историей структур, протекающей в более медленном ритме. Поверхность же образует традиционная событийная «...история кратковременных, резких, пульсирующих колебаний» [там же], зачастую препятствующая ощущать архитектуру возникающего перед взором исследователя целого – «ритм великого дыхания» величавой и медленной истории [там же, С.17]. Предлагая расчленение истории на уровни, т.е. различие в историческом времени ряда времен с присущими каждому из них ритмическими особенностями, Бродель считает такое разделение вполне традиционным приемом. При этом все выделяемые уровни «...представляют собой не что иное, как только средство изложения» [там же, С.21], при помощи которого можно транслировать информацию о целом.

На чем в таком случае предлагает сфокусировать внимание Бродель и каковы инновации его подхода? В первую очередь, это язык, т.е. приемы изложения, соответствующие своему пониманию использующихся средств. Во вторых, это манера и направленность заключений, делающихся о мыслимом целом. Весьма сдержанное отношение к философии истории, воздержание от объяснительных стратегий и от умножения нарративов в поле бесконечной интерпретации известного материала подвигает Броделя на расширение объема использующейся информации, анализ структур и первоочередной интерес к количественным показателям исторических процессов. По свидетельству Дж. Сальмона (Salmon), основное внимание Бродель уделяет выявлению и прослеживанию длинных рядов фактов различного типа; так, например, «длинные демографические тенденции нескольких столетий очаровывают Броделя из-за их гармонии с промежутком времени, достаточным для анализа структуры» [200, Р.353]. Использование свода общепризнанных исторических фактов порождает различные варианты традиционных историй, каждая из которых демонстрирует умение ее автора добиваться определенного изящества в компоновке материала, находить удачные пропорции в сочетании фактических и ху-

дожественных элементов повествования. Структуралистская установка направлена на то, чтобы «расширять объем доступной нам информации, попутно ее систематизируя и классифицируя по заранее намеченным группам...», что означает «...перейти от художественного к своего рода количественному балансу» [24, С.373]. Для этого необходимо проводить выделение последовательностей сходных событий и согласование полученных данных и поставленных проблем с общими гипотезами и положениями. Это говорит о намерении отказаться от «умелого сочетания» или «изящного конфигурирования» фактов в пользу дискретного языка индексирующих показателей. Или – как формулирует Бродель – отказаться от «...надуманной игры в «причины» и «следствия», игры, излюбленной историками прошлого...» [22, С.119].

Итак, Бродель предлагает не платить дань «языку историков», и заимствовать языки естественных наук. Он предлагает иной тип дискурса, рассматривающий проявления ритмичности в качестве формального выражения динамики структур. Тем самым он корректирует и ужесточает позицию Февра, который, как отмечает Гуревич, предпочитал обязывающему понятию «структура» более расплывчатые и менее категорические термины – ритм, пульсации, течения и контртечения [41, С.512]. Оцениваемая количественная динамика нуждается в математическом аппарате и потому, подчеркивая свою приверженность к математическому языку, Бродель склонен считать его общим во взаимодействии социальных наук и претендующим на универсальность. С его помощью, пишет он, становится очевидной «...плодотворность последовательного статистического анализа, который надо продвигать все глубже в прошлое», чтобы о глубинах истории «невероятно длинные статистические ряды... рассказали универсальным языком цифр...» [22, С.140]. Вторым общим языком Бродель называет географию, т.е. пространство. Использование общих языков в перспективе большой длительности позволяет, согласно Броделю, задать унифицированные координаты, в которых всякая выделяемая общность может анализироваться

как параметризованное множество. В таком случае работа с подобным множеством заключается в актуализации его под разными углами зрения, в различных аспектах, при помощи изобретаемых типологий.

### 3.2.2. Полиритмия исторической реальности

В ориентации на элементарные математические понятия наблюдается определенное созвучие мыслей Делеза и Броделя. Подобно Делезу, использующему понятие множества для определения Идеи, Бродель использует то же понятие для определения общества. Предлагая «...позаимствовать у математиков столь удобное понятие [множество], которого сами они опасаются...», Бродель предпочитает «...говорить об обществе как о *множестве множеств* (*ensemble des ensembles*), как о полной сумме всех фактов, каких мы, как историки, касаемся в разных областях наших исследований» [23, 2, С.461]. Очевидно, что в этом случае он имеет в виду определенные сообщества, ансамбли сингулярностей, т.е. любую социальную реальность, которая представляется «...пучком переменных величин...» [там же]. Как множество, наблюдаемое само по себе, социальная реальность находится в рамках более высокого множества, а следовательно – предполагает и другие пучки переменных. Отдавая отчет в том, что всякое выделяемое для наблюдения множество отделено искусственным образом от остальных сопутствующих ему множеств, Бродель считает такое разделение практически необходимым. Любые сечения, границы и детерминанты, безусловно, искусственны и сомнительны; однако речь идет, прежде всего, об их конструктивности и результативности. Такое отношение к прошлой реальности выдает в броделевском подходе общую – по мнению Савельевой и Полетаев – для любой социально ориентированной философии установку, согласно которой предполагается «...изучение прошлого как социального конструкта» [112, С.5]. Собственно, Бродель не задается философскими вопросами о «происхождении» социальной реальности, он оперирует в ней как во множестве феноменов.

В связи с таким подходом возникает попутный вопрос о множестве «предельной величины», для которого все остальные множества должны будут играть роль подмножеств. Отвечая, Бродель перечисляет некоторые виды множеств (или реальностей), что непосредственно привлекают взгляд историка, но никогда не бывают изолированными массивами – экономика, политика, культура – и которые дают ту «глобальную целостность», «реальность реальности» или «множество множеств», обозначаемое как «общество по преимуществу» [23, 3, С.39]. Исходя из этой позиции, становится очевидным, что общество не мыслится однородным объектом исследования, но представляет собой целостное, но вариативное собрание взаимозависимых единств. Ссылаясь на высказывания Ж. Ле Гофа, Гуревич говорит о том, что «...в действительности речь должна идти не о едином и гомогенном времени хронологических таблиц, но о «спектре времен»...» [41, С.538], в котором движутся варьирующиеся подмножества. И наоборот: для взятого в своем композиционном целом общества (т.е. сложного множества высокого порядка) каждое подмножество выступает как одно из измерений, работа с которым актуализирует определенный (заведомо упрощенный) ракурс взгляда на целое. Любое выбранное измерение – будь то география, демография, экономика и т.д. – становится очередным способом по-новому прочесть, оценить и истолковать прошлое. В этой слоистой, «глубоко эшелонированной» (Бродель) исторической реальности каждый слой демонстрирует свой ритм изменений. Общество же (как множество) мыслится органическим целым, а не суммативным результатом сведения своих актуализируемых измерений, несмотря на то, что чем ниже порядок множества, тем более оно гомогенно.

История общества, как считает Бродель, есть, безусловно, процесс, но характеризующийся не как исходно данный поток Истории; «...история мира – не один, но множество потоков» [23, 3, С.8]. Как единый поток, история мира возникает, скорее, в мышлении историка, исследующего взаимодействия отдельных потоков. В предлагаемой Броделем схеме подраз-

деляющиеся на подмножества множества, каждое из которых «представляет» системно организованную социальную реальность, творят историю. Особенность этого творения заключается в том, что каждый поток, каждое множество, каждая реальность изменяется в присущем ему ритме; в таком случае «реальность реальности» представляет собой некую результирующую взаимодействий этих ритмов. В этом плане Бродель продолжает мысль М. Блока, который ратовал за то, что сферы функционирования общества – такие как политика экономика, искусство и т.д. – обладают своими собственными ритмами изменений, а потому не могут быть механически синхронизированы. «Но именно благодаря такому разнообразию, – настаивает Блок – и создается ритм социальной жизни, почти всегда неравномерный» [18, С.88]. Так, исподволь, выступает проблема выяснения основных черт процесса, в ходе которого из ритмических порядков «отдельных» реальностей, смешивающихся в суперпозиции, напоминающей хаос, появляется ритмический порядок социального целого.

Бродель пытается упорядочить этот процесс на концептуальном уровне, предлагая относительно целостную схему, подразделяющую исторические структуры на различные уровни по критерию скорости происходящих в них изменений. Определяя историческое исследование как «...посвященное текучему пространству» [24, С.18], он ориентирует работу историка на анализ процессуальных признаков структур и объектов сквозь призму диалектики пространства-времени. Бродель делает упор на выявление ритмов тех реальностей (множеств), которые в своем сложном взаимодействии, в контексте «текучей иерархии», представляют «полный» спектр исторической динамики. Три различных временных протяженности, каждая из которых соответствует определенному типу исторических структур и для каждой из которых характерен свой ритм, являются альтернативой равномерно текущему календарному ритму, размеченному событиями разного калибра. В этом Бродель продолжает разработку исходных пунктов анализа Маркса; что же касается понятия всемирной истории, он

придерживается своего специфического мнения. Структурную схему глобальной истории, ее статус и особенности Бродель описывает и пространно, и скрупулезно в следующем фрагменте. «В такой схеме глобальная история (или, лучше сказать, глобализирующая, т.е. желающая стать всеобщей, стремящаяся к этому, но никогда не могущая быть таковой вполне) – это изучение по меньшей мере четырех «систем» самих по себе, затем в их отношениях, их зависимостях, их взаимном перекрытии, с многочисленными корреляциями и переменными величинами, присущими каждой группе, переменными, которыми не должно априорно жертвовать ради взаимоперемennых (*intervariables*) и наоборот» [23, 2, С.462].

На фоне этого объяснения перед нами выступает ряд моментов, на которые следует обратить внимание в дальнейшем.

Прежде всего, подход Броделя концентрирует интерес на изучении структур – множеств, ансамблей, сообществ, т.е. архитектоники исторических явлений. В данном случае под структурой понимается не умозрительная конструкция, а относительно стабильная историческая реальность медленно изменяющаяся во времени. Именно изменение во времени – при всей неоднозначности, противоречивости и субъективности определения этой реальности – играет ключевую роль. Согласно тезису Ладюри, высказанному в связи с исследованиями климата, но имеющем «универсальное» применение в отношении структур, важен сам характер реальности: он «...является функцией времени: он изменяется, подвержен колебаниям, является объектом истории» [72, С.12]. Аналогичную точку зрения Рикер распространяет вообще на физическую природу, которая «... также развивается во времени и, в этом широком смысле, исторична» [107, С.236-237]. В той же самой тональности, как свидетельствует, цитируя, А. Грабски, определяет непосредственно структуры и сам Бродель: «...феноменом структуры является то, что длится (во времени)...» и «...соответствует долговременным... реальностям» [40, С.181]. В этом смысле броделевский структурализм отличается как от современного ему французского структу-

рализма, так и от воззрений Маркса; любая структура, любой «пласт действительности» не входит в заведомо определенную иерархическую систему, но изначально все они эквивалентны как линии актуализации «множества множеств». При таком исходном положении открывается простор для *изобретения* и анализа динамики любого рода множеств, представляющих тот или иной аспект общественной жизни.

Это означает, что мы способны задавать любые мыслимые линии актуализации искомого гипотетического множества путем утверждения в его пределах различных концептуальных единств. Практически это приводит к бесконечному экспериментированию: поиску и выбору интересующего параметра и пределов наблюдения его изменений, который обусловлен, по большей мере, наличием необходимого объема информации, позволяющей введение соответствующей типологии. При возможности сформировать представительный ряд данных, появляется шанс провести его исследования для выявления ритмических особенностей выбранного типа реальности. Относительно такой возможности сам Бродель высказывается оптимистически уже четверть века тому назад: «...нам настолько доступны многие данные, сравнимые во времени и пространстве, что возникает впечатление, будто... почти что сам ставишь эксперимент» [23, 2, С.6]. Вопрос лишь в том, на реализацию чего направлены эксперименты такого рода. А следовательно, первостепенным становится вопрос о том, что в контексте идей Броделя понимается под «тотальной историей», играющей глобализирующую роль.

### **3.2.3. «Тотальная история» как методологический регулятив исторического письма**

В «Археологии знания» Фуко уделяет место сжатому анализу двух понятий истории, начиная с утверждения о том, что «...тема и возможность *глобальной* истории начинает понемногу исчезать, и мы видим, как проясняются весьма несхожие очертания того, что мы могли бы назвать

*тотальной историей»* [128, С.12]. Задачи глобальной истории, модернизирующей классическую метафизику истории, понятны; потому важно очертить задачи «новой» истории. К ним Фуко относит выяснение того, «...какие формы отношений могут быть закономерно установлены между различными рядами; какие вертикальные связи они порождают; чем характеризуются их соответствия и преобладания; чем обусловлены смещения, темпоральные сдвиги, остаточности...» [там же]. При всей значимости рядов, выражающих аспекты некоего множества высокого порядка – общества, цивилизации, – их выделение не является самоцелью исторической дисциплины. Речь идет о том, чтобы через исследование множественности аспектов, путем прослеживания множества концептов определить ту совокупность, о которой прямо или косвенно идет речь, и которая возникает в сосуществовании рядов и линий. Пытаясь выяснить «...не только какие ряды, но и какие последовательности рядов и цепи последовательностей (матрицы) могут быть установлены», две истории предлагают разные методы: «глобальное описание собирает все феномены... вокруг единого центра; тогда как тотальная история разворачивается в виде рассеивания» [там же]. В интерпретации Фуко новая историческая наука (т.е. ориентированная на структурализм «тотальная история»), «...множа пригнанные друг к другу и, вместе с тем, независимые истории, так что множественность экономики соседствует с множественностью институтов, наук, религии и литературы...» [там же], не фокусируется на едином центре. Можно сказать, что она ориентирована – исключительно методологически – на «плавающий фокус», «переменный центр», т.е. организована в своих устремлениях таким образом, что позволяет использовать в исследованиях и глобальную перспективу, и всемирный масштаб.

Было бы большой натяжкой утверждать, что структурализм Броделя в полной мере та же установка, что и структурализм Фуко; концентрация «историка» и «философа» в научной крови каждого из них различна. Тем не менее, вполне очевидно, что по многим пунктам их позиции чрезвычай-



но близки. Для Броделя представление истории в едином плане и едином движении – это недостижимый идеал. Это значит, что, с его точки зрения, всеобщей истории в метафизическом смысле не существует, но использование при историческом исследовании глобального видения ориентирует ученого на поиск все более крупных единств в масштабе исторического процесса в целом. В то же время Бродель не представляет себе исторического исследования без всякой опоры. Он не обходится без того, что Фуко называет «историей историков», т.е. без того, «...на что обычно опираются, чтобы обратиться к истории и ухватить ее в ее тотальности, все, что позволяет изображать ее как последовательное терпеливое движение...» [129, С.112]. Бродель отмечает, что «...описывать, анализировать, сравнивать, объяснять – ...это означает пренебрегать непрерывным временем истории или разрывать его как бы по своей прихоти. А ведь время это существует» [23, 2, С.7]. В каком же виде может мыслиться такое «существование» и насколько оно самостоятельно? Несмотря на все несоблюдения этого непрерывного времени, оно незримо используется как средство наблюдения, в ходе которого – как непрерывного сравнения – какие-либо закономерности прослеживаются при «наложении» историй отдельных множеств (реальностей) на хронологическую историю мира. В таком случае это непрерывное время скорее регулятивно, чем существенно само по себе. Такое время может применяться как идеальный выразитель научной веры и гипотезы, т.е. как указатель заведомо недостижимого «итога», являющегося максимально удаленным фокусом мыслительной работы. Анализируя подобную ситуацию, Минк подчеркивает, что «для ученого гипотеза – это цель; для историка – указатель... На кантианском языке можно сказать, что гипотезы... конститутивны в науке, регулятивны в истории» [192, Р.35]. Однако, несмотря на то, что Бродель – профессиональный историк, очевидна его склонность к позитивизму. Такая же особенность научной позиции заметна и у ряда его последователей, что позволяет В. Вжозеку квалифицировать направление «количественно-процессуальных исследо-

ваний», к которому принадлежат Бродель, Шоню, Ладюри и др., как сциентистское [31, С.71]. Именно значительная примесь сциентизма позволяло и позволяет многим исследователям трактовать броделевское понятие глобальной (тотальной) истории скорее в качестве научной цели, чем в качестве гибкого принципа, согласно которому тотальное описание и глобальный охват практически синонимичны.

Так, например, М. Барг, излагая теорию полиритмии исторического процесса, предлагает построение, совмещающее как броделевские инновации, так и стадиальную марксистскую схему. Он отталкивается от понятия исторического времени, которое «...многомерно, следовательно, хронология не может рассматриваться как простое линейное множество, а... представляет ряд множеств...», причем «у каждого из этих множеств свой ритм, свой тип и частота «событий» [12, С.87]. Однако ритмы каждой из составляющих общества синхронизируются в прокрустовом ложе универсальной суперструктуры, которая характеризуется «...ритмом движения господствующего формационного уклада...», т.е. ритмом охватывающей системы. Именно система задает «интегральное время», т.е. собственно реальное историческое время, по отношению к ритмике которого можно определить «...в каждой подсистеме меру отклонения ритмов ее движения» [там же, С.113].

Сходным образом трактует историческую полиритмию и Валлерстайн, взгляды которого сам Бродель расценивал как в значительной степени марксистские. Для Валлерстайна «...всё, что является историческим – системно, и всё, что является системным – исторично» [28, С.198]. «Историческую реальность» он определяет как «...реальность длительных, но не вечных наборов структур (которые я бы назвал историческими системами), имеющих свои структурированные способы действия (которые я бы назвал их циклическими ритмами), но также подверженных непрерывным медленным процессам трансформации...» [27, С.106]. При этом каждая историческая система – как интеграция в единую сеть различных процессов –

имеет свою собственную историю. Для вскрытия этих историй анализируются ритмы, отслеживаемые в пространственно-временных границах исторических систем, которые «...имеют некоторое системное качество, то есть управляются некоторым набором процессов...» [205]. Из чего можно предположить, что эти ритмы относительно предсказуемы в определенном временном промежутке «...в рамках тех правил, по которым функционирует система...», хотя бы по той причине, что «...в рамках функционирования исторической системы нет подлинной свободы воли» [28, С.201-202].

Приведенные примеры лишь иллюстрирует ту особенность мысли Броделя, которую неоднократно акцентирует в своих исследованиях Ч. Лэй (Lai): «...концепты Броделя не аналитически или логически строги, но приспособляемы согласно обстоятельствам» [186, Р.30]. В этом смысле вся «теория» истории цивилизаций, которую отстаивает Бродель, является инструментом анализа, системой приемов, но ни в коем случае не последовательным теоретизированием. Это позиция исследователя, который демонстративно сторонится как теории истории, так и философии истории; эта позиция не направлена на структурирование исторической динамики с применением причинно-следственных связей, она не предполагает приложения усилий к причинной интерпретации истории. В итоге такая позиция провоцирует приверженцев «ответственного рационализма» (Розов) предъявить претензии Броделю (равно как и во многом наследующему ему Валлерстайну) в том, что «...ни тот, ни другой не предъявляют явно логико-методологическую структуру своих подходов» [110, С.290].

Подобные претензии к методу, а также весьма пестрые истолкования базовой схемы, которые сам Бродель квалифицировал как непонимание своей позиции, имеют достаточные основания. Определенная непоследовательность Броделя – как натуры артистической и импульсивной – в определениях, его образный язык и склонность к оксюморонам позволяют достаточно вольно понимать и применять его концепцию. Грабски, цити-

руя ряд заявлений Броделя о том, что ему не нужна философия истории, что он не поддерживает идею социологии прогресса, что он не хочет давать строгих дефиниций или строить взвешенные конструкции, делает вывод об отношении ученого к методологии в целом. «Нет никакого сомнения, – пишет он, – что в области эпистемологии... он (Бродель – М.Ш.) придерживался феноменилистической позиции, которая была характерна для позитивистской историографии» [40, С.183]. При этом он оставлял за теориями, применяемыми в области общественных наук, «...только лишь методологический статус, считая эти теории лишь инструментами, своего рода рабочими гипотезами, имеющими ограниченное применение» [там же, С.184].

Из этого следует заключить, что «тотальная история», которая столь по-разному понимается и историками, и философами истории, для Броделя служила своего рода общей идеей истории, т.е. понятийной привязкой, которая управляет несколькими концепциями исторического времени. Эту мысль аргументировано доказывает Лэй, обильно цитируя самого Броделя: «...тотальная история – не исторический концепт, скорее это – методологическое требование исторического письма»; «тотальная» не означает намерения написать полную историю мира... это [было бы] ребячеством и сумасшедшей претензией» [186, Р.18]. Понятие тотальности истории выражает настойчивую (или, даже, навязчивую) веру в то, что история может обнаружить организованную структуру, а не только хаос фактов. Все это значит, что, интерпретируя схемы Броделя, исследователи в полной мере и по своему усмотрению используют разработанные им концепты, подводя их под различные, собственные, идеи истории. Результатом этой деятельности становится появление широкого спектра методологических ориентиров, привязанных к определенным понятиям истории в целом, а следовательно, провоцирующих для обоснования этих понятий различные специфические виды тождеств. Даже не смотря на то, что – как констатирует А. Ястребицкая, анализируя отношение современной исторической науки к

броделевскому наследию, – сегодня «...эпистемологические возможности «глобальной» истории поставлены под сомнение» [160, С.22], количество попыток структурирования истории в максимально возможном масштабе достаточно велико.

Глобальное структурирование истории гипотетично, и едва ли не основной характеристикой исторических структур служит специфика их изменений в масштабе длительности их существования. Разные точки зрения на функциональную форму цельности структур порождают, исподволь, различные философские основания предлагаемых моделей крупномасштабных историй. Так, например, идея мир-системы Валлерстайна опирается на *диалектику* пространства-времени, т.е. акцентирует и перерабатывает броделевские мысли времен первого издания «Средиземного моря...» о диалектике истории-географии. Поэтому исторические системы (как объекты исследования) «...являются и системными (законоподобными), и историческими (случайными)...»; и при этом они (как структуры) внутренне противоречивы [204]. Инкорпорируя в среду своих стартовых теоретических предпосылок в том числе и основные тезисы Пригожина, Валлерстайн настаивает на том, что каждая историческая система развивается по предсказуемой траектории с определяемыми ритмами изменений своих параметров вплоть до точки бифуркации, в которой происходит выбор ее последующей траектории. Бродель, однако, не был столь последователен в своих воззрениях, и не считал диалектику структуры как системы единственным методом достижения целостности. Как показывает анализ Сальмона ряда броделевских статей и выступлений, заполняющих период времени до выхода в свет «Материальной цивилизации...», конкретных методологических указаний относительно понимания диалектики длительностей они не содержат, но в них ведется речь о составном характере исторической реальности [200, Р.354]. Сам Бродель во введении к «Истории цивилизаций» недвусмысленно замечает, что «для каждого специфического исследования можно выбрать специфическое разнообразие времен. Но любая

попытка глобального объяснения – подобно истории цивилизации – нуждается в более *эклектичном* (курсив наш – М.Ш.) подходе» [171, Р.хl].

Но если «тотальная история в ее базовом значении – нонсенс» (Шо-ню), если она «просто выражает амбицию обеспечить максимально полную перспективу» (Фюре), то что же объединяет все те исследования, которые прямо или косвенно используют броделевские идеи? Можно сказать, что ни одно из направлений, использующее инструментарий «большой протяженности» не игнорирует практическую важность исследования динамики переменных, совокупность которых задает параметры того или иного пласта социальной реальности. Изначальное уравнивание значимости этих переменных, формирующих отдельные множества, и переменных отношения между этими множествами ведет к проблематичности всякого «удобного тождества» (Бродель), которое может мыслиться лишь как констелляция переменных. Скажем, для сравнения, что подобно тому, как Анкерсмит утверждает отсутствие «сущности прошлого», Валлерстайн утверждает отсутствие «сущности общества». Из этого можно заключить, используя метафору Д. Келли, что всякое предлагаемое историком тождество в масштабе мировой истории, в котором множество переменных сводится систему, представляет собой «...некий вид универсального растворителя, в котором исчисляемые данные могут однообразно растворяться и, таким образом, подчиняться общим суждениям" [63, С.103].

То, что не может быть строго очерченных множеств и фиксированных отношений между ними, приводит к выводу о том, что нет совершенно неизменных структур, поддерживающих единственную архитектуру целого. Равно как и нет исторических объектов, демонстрирующих свою неизменную конституцию во всех ракурсах, временах, слоях реальности. Исторические структуры, как пишет Бродель, «...видимы, различимы, в определенном смысле измеримы: мерою служит их продолжительное существование» [23, 2, С.463]. В таком случае общей областью приложения усилий для современных исследований истории цивилизации большой

протяженности остается поиск параметров, позволяющих выявить новые измерения исторических структур. С точки зрения сциентистского подхода это может означать систематизацию численных показателей; или, как это мыслит П. Турчин, использование клиометрики (как науки об исчислениях в истории вообще), поставляющей «сырые эмпирические факты» для клиодинамики, которая должна стать «...источником теорий и гипотез для направления эмпирических исследований» [203, Р.221]. В самом общем смысле это означает поиск и опробование различных методов, направленных на формирование количественных рядов, теоретизирование таких методов и интерпретацию результатов, полученных при их применении.

#### **3.2.4. Количественные ряды как источники структур мыслимых историй**

Историческое исследование не может быть в полной мере автономно по отношению к философии истории, однако нельзя не согласиться с тем, что, как неоднократно подчеркивает Анкерсмит, «...настоящей задачей историка... является задача интерпретативная – а именно задача обнаружения *целостности* в разбросанных точках...» [2, С.150]. Для решения подобной задачи необходимо достаточное количество и «разбросанных точек», и «траекторий разброса», – т.е. тех временных рядов, в которых эти точки находят свои места. Из этого следует, что необходимым пунктом в процессе создания истории как единого целого является выстраивание как можно большего числа упорядоченных в рядах данных, для того чтобы появилась возможность анализировать все возможные формы корреляций этих рядов. Собственно, в этом состоит задание оперативного исторического поля, в котором происходит поиск точек резонанса между рядами, областей их пересечения или скрещивания, с опорой на которые историк решается синхронизировать имеющиеся в его распоряжении ряды. Задачей же философии истории остается выяснение статуса утверждаемой синхронии.

Расширяя временные рамки исторического поля, историк сталкивается с необходимостью работы с рядами данных в режиме большой длительности, адекватной параметрам идеи глобальной истории. «Большая длительность, – замечает Рикер, – структурирует во временном плане преимущественно серии повторяющихся фактов, а не отдельные события... в силу этого к ним применимы квантификация и математические методы» [107, С.256]. Соглашаясь с убеждением Ладюри, считающим, что «история, которая не является квантифицируемой, не может претендовать на то, чтобы считаться научной» [187, Р.15], мы вправе утверждать, что именно в максимально возможном временном масштабе или, другими словами, в предельно широком формате исторического поля, выполняется условие возможности создания научной истории. В нашем представлении это та неопределимая история, которая, как считает Барт, образуется множеством бесконечных фактических (и контрфактических) рядов, и практика которой, по мнению Фуко, заключается в не в расшифровке следов прошлого, выступающих элементами означенных рядов, а в «...установлении и переустановлении рядов, в определении элементов ряда» [128, С.11]. Другими словами, это комбинирование, направленное на умножение числа композиций (ансамблей) линий «простой записи», каждая из которых характерна своим микро-ритмом. Адресация композиции превращает ее из сообщества протоколов – в сообщение, рапорт; введение оценочного измерения – в репрезентацию.

Как отмечалось нами и ранее [142, С.141], ряды, каждый из которых есть результат выборки по определенному критерию из имеющегося множества данных, пересекаются в области гипотетического события, где возможна та или иная концептуальная суперпозиция этих серий. Каждая из таких суперпозиций представляет своего рода «ненаблюдаемое явление» или, точнее, отсутствующий *de facto* объект, который полагается через конфигурацию сети отношений между элементами серий. В таком случае, вести разговор об эволюции «исторического объекта», а тем более – о при-



чинных связях между ее фазами или стадиями означает лишь пошаговую констатацию состояния пучка параметров множества, которому сообщается единство исходя из умысла применяемого концепта. Строго говоря, поддерживает эту мысль А. Мегилл (Megill), «...сам исторический объект есть «вымышленное» создание, что-то конституированное *как объект...*», создаваемое историком [85, С.122]. В этом смысле – продолжает он – следует последовательно признать, что «...вымышлена вся типологизация, потому что типы есть всегда идеализация реальности», что «...весь каузальный анализ... вымышлен, потому что он предлагает контрфактическое моделирование» и, наконец, вымышленным рискует оказаться любое определение [там же]. Продолжая мысль Мегилла, следует добавить: вымышленным (и мыслимым, и результатом осмысления) оказывается любая системная синхрония, надстраиваемая как процессуальная цельность над диахронией исторической ритмики.

Подобно Мегиллу и аналогичным образом А.Г. Франк (Frank) решает вопрос о выделении характерных периодов, служащих периодизации истории. С его точки зрения их выделение как необходимых и обладающих имманентным смыслом заведомо пагубно, т.к. не основано ни на чем, кроме как на некоторой заранее предпосланной идее целого. Только рассмотрение истории как процесса в терминах подобной идеи порождает опорные точки периодизации, но на самом деле, продолжает он, «...нет никаких исключительных исторических периодов... самое большее есть эволюция среди переходов, которые, в свою очередь, являются переходами от одного перехода к другому» [182]. Сами даты, служащие опорными точками периодизации, не тождественны вообще каким бы то ни было датированным моментам. Как замечают по этому поводу Савельева и Полетаев, даты сами по себе не имеют никакого значения, «датировка ничего не выдает»; значение ей придает периодизация, которая, будучи системой, «...выдает позицию историка» [113, С.141]. Ритмы датировок типичных элементов, которые можно наблюдать в массиве эмпирических данных,

синхронизируемые в схеме периодизации становятся сообщением о мыслимом целом. А это значит, что применяемая периодизация уже является первым шагом объяснения искомого.

То, что вызывает соблазн объяснения, конструируется на базе сепарированного эмпирического материала и в терминах некоторой непротиворечивой идеи. При этом всякий наблюдаемый объект, будучи следствием соотношения параметров, выступающих как функции в поле применяемого концепта, фиксируется весьма условно количественными показателями скрещивающихся «на нем» рядов. Как пишет Турчин, «на самом общем уровне объясняемый феномен квантифицирован временной записью (temporal record) флуктуаций... или данными временных рядов (time-series data)» [202]. Другими словами, «вымышленный» объект конкретного исследования определяется не частной, строго фиксированной точкой, но областью гипотетического события, районом пересечения протоколирующих его рядов, выбранных, по мнению исследователя, в качестве существенных именно для этого исследования.

О. Эксле рассматривает производство фиктивных *de jure* исторических событий на основе фактических рядов, цитируя Ницше, утверждавшего, что историк имеет дело с предполагаемыми событиями, которые могут считаться действующими в пределах гипотетического исторического мира, форматированного пространством дисциплинарно обусловленной темы. Тема историка – «так называемая мировая история» – представляет собой спектр мнений, число которых умножается в ходе процесса, который есть «беспрестанное зачатие и вынашивание фантомов» [151, С.53]. Глобальная историческая тема, подразделяясь на предметные тематические области, служит полигоном для опробования «вымышленных» типологий, причем, как отмечает Ла Капра, «цель типологии – локализация важных протоколов чтения, пересекающих тематические образования...» [185, Р.29].

Различные техники выстраивания временных рядов большой длительности могут быть объединены под общим грифом концепции длинных волн. В ее пределах удастся достичь того уровня сопряжения количественных и хронологических меток, который способствует объяснению процессов трансформации той или иной структуры, однако сами использующиеся ряды не являются непосредственным объяснением. Подчеркивая их чрезвычайно весомую, но весьма специфическую роль, Ф. Фюре утверждает, что с помощью длинных количественных рядов далеко не всегда можно точно зарегистрировать необходимые моменты изменений, поскольку ряды «...позволяют лишь идентифицировать момент прерывности постепенности, но они не объясняют его причин» [131, С.252]. Актуальность этого замечания возрастает при учете факта, не без иронии отмечаемого Савельевой и Полетаевым: находится немало исследователей, использующих концепцию длинных волн для интерпретации политических феноменов с желанием обнаружить единый ритм протекания культурных и демографических процессов [113, С.641].

По сути, это означает намерение заручиться определяемым будущим через выявление истинного ритма исторического бытия, т.е. вернуться в онтологическом плане к гегелевской схеме, базирующейся на предположаемом понятию истории понятии единства. Или, как считает Келли, предложить очередной вариант «...неоавгустинской всемирной истории в глобалистской форме» [63, С.93]. В этом смысле не столь важно, что именно обеспечивает единство в форме универсального закона мировой истории или в виде универсального процессуального принципа. Таковым может быть, как полагает Ю. Яковец, единый «ритм мировой истории», по которому, как по «общеисторическому хронометру» фиксируются «ритмы смены мировых цивилизаций» [156, С.235, 240]. Или, как утверждает В. Пантин, «...процессы синхронизации показывают общую природу эволюции различных систем, – будь то эволюция природных живых систем, эво-

люция социально-исторических систем или эволюция личности» [96, С.23].

Приводя в завершающем диссертационное исследование приложения (см.) примеры количественных рядов, каждый из которых представляет распределение данных своего рода, мы сознательно рискуем быть отнесенными к числу тех, кто склонен говорить об истории языком чисел. Задействовав обширные статистические отчеты о динамике изменения параметров тех или иных тематических образований, мы считаем, что каждый из представленных временных рядов и обогащает поле исторической ритмики, и провоцирует попытку синтеза на его основе одного из возможных представлений об исторической динамике большой длительности. При этом следует признать, что модель, к которой мы отчасти склоняемся, подобно всякой подобной ей модели крупномасштабной синхронии, структурирующей историю, мыслится как «вымышленная», – т.е. имеющая смысл на грани фактического и фиктивного. Тем самым она занимает место в ряду подобных ей персонажей философии истории, среди которых воображаемые конструкции исторического дискурса, изобретенные типологии, вымышленные причинности, гипотетические исторические события и описывающие их заимствованные языки.

### **Выводы к разделу**

Итогом раздела должно стать заключение о том, что репрезентация прошлого как исторической реальности происходит посредством использования историческим дискурсом того или иного языка, не только придающего очертания реальности, но и конституирующего ее. Различие используемых языков приводит к различию получаемых в результате исторических миров, а также к различию описываемых эти миры историй, каждая из которых характеризуется – помимо своего языка – своим ритмом и стилем, манерой изложения и объемом использующейся для изложения информации. Историк обращается к историческому полю, которое являет-

ся диспозицией отдельных высказываний о прошлом, и в котором относительно ясным может считаться лишь ритм источников, обуславливающих фактические возможности будущего развернутого описания. Выбираемый им язык обращения к историческому полю определяет способ получения в свое распоряжение не прошлого «самого по себе», а того прошлого, с которым возможна коммуникация, и на основании которого историк получает возможность говорить о том, что именно происходило в этом прошлом. Оперативное и доступное прошлое «существует» в историческом тексте, который состоит из индивидуальных истинных утверждений о прошлом, в то время как все их количество – это репрезентация прошлого.

Метафорический язык истории требует «префигурации» (Уайт) исторического поля, т.е. поэтизации имеющихся хроникальных данных и обустройство их в сущностной форме сюжета. В сюжете, который эмулирует реальное действие, фактическая информация фигурирует в качестве событийного поля. Применение тропов – как одновременно и элементарных ритмических модулей, и схем, по которым строится действие сюжета, – предлагает разрешение исторического поля в виде понятного мира прошлого. Происходящая при этом деформация ритма источников и модуляция ритма сюжета приводит к высвобождению интерпретативных возможностей письменных историй, каждая из которых по-своему «корректирует» фактуальную структуру исторического поля.

При помощи языка, сторонящегося метафорического измерения, невозможно сформировать целостное представление об историческом мире, но такого языка достаточно для поддержания констатирующего дискурса структуралистской истории. Ориентируясь на установление взаимных распределений различного рода множеств фактических элементов, этот дискурс решает задачу индексирования реальности, которое не совпадает с вариативными рассказами об этой реальности. На уровне фиксации хронологически упорядоченных последовательностей фактических констатаций, говорящих односложным языком дат, количества и степеней, буквалист-

ский дискурс отмечает собственно историческую ритмику в преддверии синтеза единой картины исторического мира.

Попытки структурирования тотальной истории, выражающие намерение представить процессуальную картину прошлого в максимально полной перспективе, вызывают необходимость вслед за выстраиванием как можно большего числа количественных рядов измышлять достоверные единства на базе анализа возможных форм корреляции между этими рядами. Однако всякое объединение численных данных, что означает их подчинение некоему общему суждению, достигается за счет введения метафорических форм.

## **ВЫВОДЫ К РАБОТЕ**

Результаты, полученные в диссертационной работе, дают все основания утверждать, что феномен ритма обнаруживается на разных стадиях формирования исторического знания и при различных процедурах, связанных с самой возможностью его получения. Имея в качестве предмета исследования историческую ритмику, мы посчитали недопустимым удовлетвориться осмыслением широкого спектра схем, моделей и теорий, отслеживающих феномен ритмичности как природных, так и социальных процессов. Напротив, – именно исследование не ритмики исторического процесса, а исторической ритмики, расширило сферу анализа за счет включения в нее области непонятного, т.е. за счет использования возможности исследовать не столько процессуальную специфику истории, сколько ритмы тех до-когнитивных единств, которые предшествуют всякому понятию истории. Ритмические фигуры, адресуемые истории, являются следствиями той или иной философии и теории истории и обусловлены спецификой актуализации и представления данных, которые производят отсылку к проблематическому прошлому. Так в фокус нашего непосредственного внимания попадают хронометрированные распределения единичных вы-

сказываний о прошлом, в качестве которых могут выступать структуры хроник, ритмы количественных рядов, фактуры исторических текстов.

Ввиду того, что «прошлое само по себе» не может быть доступно для исследования, историк вступает в коммуникацию с оперативным прошлым, которое устанавливается путем отграничения фрагмента стихии становления прошлого и концептуализации его в качестве исторического поля. Установление прошлого регулируется идеей прошлого, которая представляется метризуемым множеством высказывающихся о прошлом элементов, которое субъективно актуализируется согласно набору его измерений. Всякая актуализация идеи прошлого в одном из ее измерений, представляющая собой применение типологии в множестве составляющих ее элементов, производит серию элементов одного типа с присущим ей ритмом, который является разверткой структуры идеи прошлого в выбранном измерении актуализации. Поскольку число измерений, в которых идея прошлого может быть актуализирована, не ограничено ничем, кроме как силой воображения и творческой изобретательностью познающего субъекта, актуальное прошлое представляет собой неопределенную совокупность бесконечного числа «ритмов актуализации» (Делез), т.е. серий, различающихся типом образующих их элементов. В таком виде прошлое представляет собой «виртуальную вещь»: до-концептуальное, вечно становящееся прошлое, лабиринт, образуемый напластованием ритмических фигур, каждая из которых адекватна определенному аспекту прошлого. Посредством утверждения концептуальных пределов в среде становления прошлого и сведения прошлого как «виртуальной вещи» к пределу происходит осуществление прошлого в качестве «бытия как места» – исторического поля.

Конституция исторического поля опосредована до-концептуальным полем становления прошлого, которое задается ритмами актуализации идеи прошлого. Другими словами, историческое поле представляет собой полиритмию рядов, ограниченных границами конкретного исторического исследования, т.е. определенное, но бесформенное множество разрешений

идеи прошлого. Множество рядов, каждый из которых обладает своим ритмом, задают историческое поле, индексируя ту реальность, которая может быть впоследствии упорядочена и оформлена, т.е. изложена с помощью языка, использующегося дискурсами о прошлом (Фуко). Вне зависимости от того, какое использование языка имеет место, сверхзадачей исторического исследования служит приведение структуры реальности, обладающей множеством измерений, к единой форме. При этом виртуальное прошлое, не обладающее сущностью (Анкерсмит) и являющееся ритмической пульсацией, субстантивируется в языке, который синтезирует метрику осуществленного прошлого как дебатлируемой вещи.

Используемый язык определяет операции, производимые с историческим полем для превращения его в познаваемое. Нарративное использование языка обуславливает репрезентацию прошлого в тексте, т.е. построение «нарративной вселенной» (Уайт) – единого мира прошлого, в пределах которого действуют законы истории. Не-нарративное использование языка обуславливает регистрацию множества структурных уровней или слоев исторической реальности, взаимозависимых и сосуществующих в непостоянных ансамблях (Бродель). И в том, и в другом случае продуцирование историй подразумевает унификацию серийных высказываний о прошлом, в ходе которой последние понимаются как исторические источники, осуществляющие дескрипцию исторического мира. В широком смысле всеобъемлющий исторический мир, имеющий «тотальную» историю – тема исторической дисциплины. В каждом конкретном случае он – доступная для операций искусственная фиксации непрестанно становящегося прошлого. Применяемый концепт играет роль оператора общности, обуславливающего сходимость фактических рядов, а используемая идея истории, – роль регулятивного понятия истории в целом.

В нарративе гетерогенные временные порядки серий сводятся при помощи синтаксических структур и сюжетных схем в связное, интеллигибельное целое. Всякий акт поэтизации исходных данных играет гомогени-



зирующую роль; при этом не бывает одной гомогенной поэтики для всей историографии, равно как и не может быть единственного языка исторического описания, адекватному единственному процессу мировой истории. Каждый нарратив по-своему осваивает историческое поле, предлагая очередную версию истории, развертывающуюся в ритме определенного сюжета. Аналогичным образом в констатирующем дискурсе «тотальная история» выступает как всякий раз по-новому измышляемое идеальное единство исторического процесса, укладываемого в схему периодизации и демонстрирующего свойственный ему ритм.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверинцев С.С. Ритм как теодицея // Новый мир, 2001. –№ 2. –С. 203-205.
2. Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры/ Пер. с англ. М. Кукарцева, Е. Коломоец, В. Катаева. – М.: «Прогресс-Традиция», 2003. – 496 с.
3. Анкерсмит Ф. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков/ Пер. с англ. О. Гавришиной, А. Олейникова. –М.: «Идея-Пресс», 2003. –360 с.
4. Аристотель Категории // Сочинения в 4 т. Т. 2. –М.: «Мысль», 1978. – 687 с. –С. 53-90.
5. Аристотель Метафизика // Сочинения в 4 т. Т. 1. –М.: «Мысль», 1976. – 550 с. –С. 65-367.
6. Аристотель Политика // Сочинения в 4 т. Т. 4. –М.: «Мысль», 1983. –830 с. –С. 375-644.
7. Аристотель Поэтика // Сочинения в 4 т. Т. 4. –М.: «Мысль», 1983. –830 с. –С. 645-680.
8. Аристотель Риторика // Античные теории языка и стиля. –М.-Л., 1936. – 344 с.
9. Аристотель Физика // Сочинения в 4 т. Т. 3. –М.: «Мысль», 1981. –613 с. –С. 61-262.
10. Арон Р. Избранное: Введение в философию истории/ Пер. с фр. И.А. Гобозова. –М.: «ПЕР СЭ»; СПб.: «Университетская книга», 2000. –543 с.
11. Ашкеров А.Ю. Метаистория метаистории, или Декодирование Хейдена Уайта // Социологическое обозрение. –Т. 2. –№ 1. –2002. –С. 86-99.
12. Барг М.А. Категории и методы исторической науки. – М., 1984. –342 с.
13. Барт Р. Дискурс истории // Система моды. Статьи по семиотике культуры/ Пер. с фр. С.Н. Зенкина. – М., 2003. –512с. –С. 427-441.
14. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика/ Пер. с фр. Г.К. Косикова. — М.: «Прогресс», 1989. —616 с.

- 15.Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика: Антология. Сост. и ред. Ю.С. Степанова. –М.: «Деловая книга». –702 с. –С. 327-370.
- 16.Барт Р. S/Z/ Пер. с фр. Г.К. Косиков, В.П. Мурат. – М.: «Эдиториал УРСС», 2001. –232 с.
- 17.Берковский Й. Философия истории Канта в современном прочтении // Философские науки. – М., 1997. – №3-4. – С.121-143.
- 18.Блок М. Апология истории, или Ремесло историка/ Пер. с фр. Е.М. Лысенко. – М.: «Наука», 1986. –256 с.
- 19.Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть/ Пер. с фр. С.Н. Зенкина. – М.: «Добросвет», 2000. –387 с.
- 20.Бодрийяр Ж. Система вещей/ Пер. с фр. С. Зенкина. – М.: Издательство «Рудомино», 2001. –221 с.
- 21.Борхес Х.Л. Смерть и буссоль // Сочинения в 3 т. Т.1/ Пер. с исп. – Рига: «Полярис», 1994. –559 с. –С. 347-357.
- 22.Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность // Философия и методология истории. – Б.: БГК им. И.А. Бодуэна де Куртене, 2000. –328 с. –С. 115-142.
- 23.Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. В 3 т./ Пер. с фр. Л.Е. Куббеля. –Т.2. – М.: «Прогресс», 1988. – 632 с.; –Т.3. –М.: «Прогресс», 1992. –679 с.
- 24.Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II: В 3 ч. Ч. 1: Роль среды/ Пер. с фр. М.А. Юсима. – М.: «Языки славянской культуры», 2002. –496 с.
- 25.Бродель Ф. Что такое Франция? Кн. 1: Пространство и история/ Пер. с фр. В. Мильчина, С. Зенкин. –М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1994. –407 с.
- 26.Валлерстайн И. Время и длительность: в поисках неисключенного третьего // Философские перипетии. Вестник ХГУ, №409. – Харьков, 1998. –С. 186-197.
- 27.Валлерстайн И. Изобретение реальностей времени-пространства: к пониманию наших исторических систем // Альманах "Время мира». Вып.

- 2: Структуры истории. – Новосибирск: «Сибирский хронограф», 2001. – 520с. –С. 102-116.
- 28.Валлерстайн И. Исторические системы как сложные системы // Философские перипетии. Вестник ХГУ, №409. – Харьков, 1998. –С. 198-203.
- 29.Василенко И.А. Национальные школы философии истории // Философия истории. Под ред. А.С. Панарина. –М.: «Гардарики», 1999. –432 с.
- 30.Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии/Пер. с фр. Л.А. Торчинского. –М.: «Научный мир», 2003. –394 с.
- 31.Вжозек В. Историография как игра метафор: судьбы "новой исторической науки» // Одиссей: Человек в истории. 1991: Культурно-антропологическая история сегодня. – М.: «Наука», 1991. – 192 с. –С. 60-74.
- 32.Визгин В.П. Постструктуралистская методология истории: достижения и пределы // Одиссей: Человек в истории. 1996. –М.: «Coda», 1996. –366 с. – С. 39-59.
- 33.Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. –Л.: «Художественная литература», 1940. –619 с.
- 34.Гавришина О.В. История как текст // Новое лит. обозрение, 2003. –№ 59. –С. 535-539.
- 35.Гавришина О.В. «Опыт прошлого»: понятие «уникальное» в современной теории истории // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. –М., 2002. –С. 328-350.
- 36.Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии: В 3 кн./ Пер. с нем. Б. Столпнера. –Кн.2. –СПб.: «Наука», 1994. –423 с.; –Кн.3. –СПб.: «Наука», 1994. –582 с.
- 37.Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории // Сочинения в XIV т. Т. VIII/ Пер. с нем. А.М. Воден. –М.: «Партиздат», 1935. –470 с.
- 38.Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Сочинения в XIV т. Т. IV/ Пер. с нем. Г. Шпет. –М.: «Политиздат», 1959. –440 с.
- 39.Гегель Г.В.Ф. Философия религии. В 2 т. –Т.1./ Пер. с нем. М.И. Левиной. –М.: «Мысль», 1976. –532 с.

40. Грабски А.Ф. Фернан Бродель: вопросы методологии истории цивилизации // Цивилизации. Вып. 1. –М.: «Наука», 1992. –231 с. –С. 178-186.
41. Гуревич А.Я. Уроки Люсьена Февра // Февр Л. Бои за историю. –М.: «Наука», 1991. –529 с. –С. 501-542.
42. Гуревич А.Я. Историк в поисках метода // Одиссей: Человек в истории. –М.: «Coda», 1996. –366 с. –С. 5-10.
43. Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретация. Деррида Ж. Оставь это имя (Постскрипtum), Как избежать разговора: денегации. — Минск: «Экономпресс», 2001. — 320 с.
44. Данто А. Аналитическая философия истории/ Пер. с англ. А.Л. Никифорова и О.В. Гавришиной. –М.: «Идея-Пресс», 2002. –292 с.
45. Делез Ж. Кино. Кино 1. Образ-движение. Кино 2. Образ время. –М.: «Ad Marginem», 2004. –623 с.
46. Делез Ж. Логика смысла // Делез Ж. Логика смысла. –Фуко М. Theatrum philosophicum/ Пер. с фр. Я.И. Свирского. –М.: «Раритет», Екатеринбург: «Деловая книга», 1998. –480 с.
47. Делез Ж. Ницше и философия/ Пер. с фр. О. Хомы. –М.: «Ad Marginem», 2003. – 387 с.
48. Делез Ж. Переговоры/ Пер. с фр. В.Ю. Быстрова. –СПб.: «Наука», 2004. –234 с.
49. Делез Ж. Различие и повторение/ Пер. с фр. Н.Б. Маньковской и Э.П. Юровской. –СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998. –384 с.
50. Делез Ж. Фуко/ Пер. с фр. Е.В. Семиной. –М.: «Издательство гуманитарной литературы», 1998. –172 с.
51. Делез Ж. Эмпиризм и субъективность: опыт о человеческой природе по Юму. Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза/ Пер. с фр. Я.И. Свирского. –М.: «ПЕР СЭ», 2001. –480 с.
52. Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия?/ Пер. с фр. С.Н. Зенкина. –М.: «Институт экспериментальной социологии», СПб.: «Алетейя», 1998. –288 с.

53. Деррида Ж. Как избежать разговора: денегации // Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретация. Деррида Ж. Оставь это имя (Постскрип-тум), Как избежать разговора: денегации. — Минск: «Экономпресс», 2001. —320 с. —С. 251-316.
54. Деррида Ж. О грамматиологии/ Пер. с фр. Н. Автономовой. —М.: «Ad Marginem», 2000. —511 с.
55. Деррида Ж. Подпись — событие — контекст // Дискурс: Коммуникация — Образование — Культура. —№1. —1996.
56. Деррида Ж. Позиції/Пер. с фр. А. Ситника. —К., 1994. —158 с.
57. Зенкин С. Критика нарративного разума. Заметки о теории // Новое лит. обозрение. —М., 2003. —№ 59. —С. 524-534.
58. Ильин И. Дискурсивные практики // Постмодернизм. Словарь терминов. —М.: «ИНИОН РАН», 2001. —384 с. —С. 77-78.
59. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Сочинения в 6 т. Т.6/ Пер. с нем. Н.М. Соколова. —М.: «Мысль», 1966. —743 с. —С.351-588.
60. Кант И. Критика способности суждения // Сочинения в 6 т. Т.5/ Пер. с нем. Н.М. Соколова. —М.: «Мысль», 1966. —564 с. —С.163-527.
61. Кант И. Критика чистого разума/ Пер. с нем. Н. Лосского. —М.: «Мысль», 1994. —592 с.
62. Кант И. Прелегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука // Соч. в 6 т. —Т.4(1)./ Пер. с нем. Вл. Соловьева. —М.: «Мысль», 1965. —544 с. —С.69-210.
63. Келли Д.Р. Основания для сравнения // Альманах интеллектуальной истории. «Диалог со временем». 2001. Вып. 7. —392 с. —С.89-105.
64. Кожев А. Введение в чтение Гегеля/ Пер. с фр. А.Г. Погоняйло. —СПб.: «Наука», 2003. —792 с.
65. Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография/ Пер. с англ. Ю.А. Асеева. —М.: «Наука», 1980. —485 с.

66. Конев В. Трансцендентальный эмпиризм Жюль Делеза // [http://www.ssu.samara.ru/common/structure/philosophy/phil\\_own/Publ/k\\_delez1.htm](http://www.ssu.samara.ru/common/structure/philosophy/phil_own/Publ/k_delez1.htm)
67. Кошмило О.К. Структура мира и ее ритмическая пульсация в структурализме Делеза // Социальная аналитика ритма. Сборник материалов конференции. Санкт-Петербургское философское общество, 2001. – 240 с. – С. 77-87.
68. Кукарцева М.А. Ф. Анкерсмит и «новая» философия истории // Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры. – М.: «Прогресс-Традиция», 2003. – 496 с. – С.15-64.
69. Кукарцева М.А. Начало лингвистического поворота в историописании // Monstera №4. Философские проблемы социально-гуманитарного знания. – М.: МГТУ «МАМИ», 2004. – 272 с.
70. Кукарцева М.А. Современная философия истории США. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 1998. – 215 с.
71. Ле Руа Ладюри Э. Застывшая история // THESIS, Вып. 2, 1993. – С. 153-173.
72. Ле Руа Ладюри Э. История климата с 1000 года/ Пер. с фр. – Л.: «Гидрометеиздат», 1971. – 280 с.
73. Лиотар Ф. Состояние постмодерна/ Пер. с фр. Н.А. Шматко. – М.: «Институт экспериментальной социологии»; СПб.: «Алетейя», 1998. – 160 с.
74. Лосев А.Ф. Античная философия истории. – СПб.: «Алетейя», 2001. – 263 с.
75. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Высокая классика. – М.: «Искусство», 1974. – 600 с.
76. Лосев А.Ф. Музыка как предмет логики // Из ранних произведений. – М.: «Правда». – 1990. – 655 с. – С. 193-390.
77. Лотман Ю.Н. Семиосфера. – СПб.: «Искусство-СПБ», 2000. – 704 с.
78. Макнил В. Меняющийся образ всемирной истории // Альманах «Время мира». Вып. 2: Структуры истории. – Новосибирск: «Сибирский хронограф», 2001. – 520 с. – С. 16-38.

- 79.Маковецкий Е.А. Социальная аналитика ритма: Жиль Делез, или О спасении. –СПб.: «Изд-во С.-Петербург. ун-та», 2004. –176 с.
- 80.Мамалуй А.А. Авторство (транс)дискурсивности // Філософські перипетії. Вісник ХНУ, №561. –Харьков, 2002. –С. 22-30.
- 81.Маркс К. 18 Брюмера // К. Маркс, Ф. Энгельс Сочинения. Т. 8. –М.: «Гос. изд-во политической литературы», 1957. –705 с. –С. 115-217.
- 82.Маркс К. Немецкая идеология // К. Маркс, Ф. Энгельс Сочинения. Т. 3. –М.: «Гос. изд-во политической литературы», 1955. –629 с. –С. 7-544.
- 83.Маркс К. Рукописи 1844 // К. Маркс, Ф. Энгельс Сочинения. Т. 42. –М.: «Гос. изд-во политической литературы», 1974. –535 с. –С. 41-174.
- 84.Мароши В.В. Что есть дискурс? // Дискурс (коммуникация, образование, культура), 2/96. –Лаборатория «Текст». –Новосибирск, 1996. Цит. по: <http://www.nsu.ru/education/virtual/discourse2-27.htm>
- 85.Мегилл А. «Великий нарратив» и историческая дисциплина // Monstera №4. Философские проблемы социально-гуманитарного знания. –М.: МГТУ «МАМИ», 2004. –272 с.
- 86.Мило Д. За экспериментальную, или веселую, историю // THESIS, 1994. –Вып. 5. –С.185-205.
- 87.Можейко М.А. Поэтическое мышление // Постмодернизм. Энциклопедия. –Мн.: «Интерпрессервис»; Книжный Дом. 2001. –1040 с. –С. 619-622.
- 88.Набоков В.В. Лекции по зарубежной литературе. – М.: «Издательство Независимая Газета», 1998. – 512 с.
- 89.Неретина С.С. Тропы и концепты / РАН. Ин-т философии. –М., 1999. – 277 с.
- 90.Никитин В.Е. Проблема исторической реальности // Метафизические исследования, №2, «История», 1997. –с. 20-25.
- 91.Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Соч. в 2 тт. Т.1. –М.: «Мысль», 1990. – 831 с. –С. 158-230.
- 92.Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Соч. в 2 т. Т.2. –М.: «Мысль», 1990. –830 с. –С. 238-406.



93. Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм // Соч. в 2 т. Т.1. –М.: «Мысль», 1990. – 831 с. –С.48-157.
94. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Соч. в 2 т. Т.2. –М.: «Мысль», 1990. –830 с. –С. 6-237.
95. Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое // Соч. в 2 т. Т.1. –М.: «Мысль», 1990. –831 с. –С. 231-489.
96. Пантин В.И. Циклы и ритмы истории. –Рязань, 1996. – 156с.
97. Пас О. Освящение мига: Поэзия. Филос. эссеистика/ Пер. с исп. –СПб.- М.: «Симпозиум», 2000. –410 с.
98. Пирс Ч. Начала прагматизма/ Пер. с англ. В.В. Кирющенко, М.В. Колопотина. –СПб.: Лаборатория метафизических исследований философского ф-та СПбГУ; «Алетейя», 2000. –352 с.
99. Платон Государство // Собрание сочинений в 4 т.: Т.3/ Пер. с древнегреч. –М.: «Мысль», 1994. –656 с. –С. 79-420.
100. Платон Кратил // Собрание сочинений в 4 т.: Т.1/ Пер. с древнегреч. –М.: «Мысль», 1990. –862 с. –С. 613-681.
101. Платон Пир // Собрание сочинений в 4 т.: Т.2/ Пер. с древнегреч. – М.: «Мысль», 1993. –528 с. –С. 81-134.
102. Платон Тимей // Собрание сочинений в 4 т.: Т.3/ Пер. с древнегреч. – М.: «Мысль», 1994. –656 с. –С. 421-500.
103. Платон Филеб // Собрание сочинений в 4 т.: Т.3/ Пер. с древнегреч. – М.: «Мысль», 1994. –656 с. –С. 7-78.
104. Подорога В. К философии архива // «Индекс», № 14, 2001. Цит по: <http://www.index.org.ru/journal/14/podoroga1401.html>
105. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой/ Пер. с англ. Ю.А. Данилова. –М.: «Прогресс», 1986. –432 с.
106. Репина Л.П. Междисциплинарные подходы к изучению прошлого // <http://www.auditorium.ru/books/2624/>

107. Рикер П. Память, история, забвение/ Пер. с. фр. И.И. Блауберг, И.С. Вдовина, О.И. Мачульская, Г.М. Тавризян. –М.: «Издательство гуманитарной литературы», 2004. –728 с.
108. Риккерт Г. Философия жизни/ Пер. с нем. –К.: «Ника-Центр»; «Вист-С», 1998. –507с.
109. Родин А. Среда и событие // Событие и смысл (синергетический опыт языка). –М., 1999. –279 с. –С. 124-172.
110. Розов Н.С. Философия и теория истории. Кн. 1. Прологомены. –М.: «Логос», 2002. –656 с.
111. Рюзен Й. Утрачивая последовательность истории // Альманах интеллектуальной истории. Диалог со временем. 2001. Вып. 7. –С. 8-26.
112. Савельева М.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история. В 2 т. Т.1: Конструирование прошлого. –СПб.: «Наука», 2003. –632 с.
113. Савельева М.М., Полетаев А.В. История и время. В поисках утраченного. –М.: «Языки русской культуры», 1997. –800 с.
114. Секст Эмпирик Сочинения в 2 т. Т. 1/ Пер. с древнегреч. А.Ф. Лосева. –М.: «Мысль», 1976. –399с.
115. Стрелков В.И. К онтологии исторического текста: некоторые аспекты философии истории Ф.Р. Анкерсмита // Философия и современные проблемы гуманитарного знания. Вып. 2. –М. –2000. –С. 123-138.
116. Стросон П.Ф. Кантовы новые основания метафизики // Кантовский сборник: Межвуз. темат. сб. науч. тр. Вып. 23. –Калининград: «Изд-во КГУ», 2002. – 143 с. –С. 4-17.
117. Сыров В.Н. Нарративное производство и современное социальное познание // Социальное знание в поисках идентичности. Фундаментальные стратегии социогуманитарного знания в контексте развития современной науки и философии. Сб. научных статей по материалам Всероссийской научной конференции, проведенной философским факультетом ТГУ 25-26 мая 1999. –Томск: «Водолей», 1999. –С. 20-26.

118. Тодоров Ц. Семиотика литературы // Семиотика: Антология. Сост. и ред. Ю.С. Степанова. –М.: «Деловая книга». –702 с. –С. 371-375.
119. Тойнби Дж. Постижение истории/ Пер. с англ. –М.: «Прогресс», 1991. –736 с.
120. Трельч Э. Историзм и его проблемы: Логические проблемы философии истории/ Пер. с нем. –М.: «Юрист», 1994. –719 с.
121. Трубина Е.Г. Историзм // Современный философский словарь. Под ред. Кемерова. Цит. по: [http://www2.usu.ru/philosophy/soc\\_phil/rus/texts/slovar/histourisizm.html](http://www2.usu.ru/philosophy/soc_phil/rus/texts/slovar/histourisizm.html)
122. Трубина Е.Г. «Метаистория» и историки // Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. –Екатеринбург: «Изд-во Уральского ун-та». –2002. –527 с. – С. 505-518.
123. Трубина Е.Г. Нарратология: основы, проблемы, перспективы. Материалы к спецкурсу. Уральский гос. ун-т. Цит по: [http://www2.usu.ru/philosophy/soc\\_phil/rus/courses/narratology.html](http://www2.usu.ru/philosophy/soc_phil/rus/courses/narratology.html)
124. Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века/ Пер. с англ. Е.Г. Трубиной и В.В. Харитонова. –Екатеринбург: «Изд-во Уральского ун-та». –2002. –527 с.
125. Уайт Х. Ответ Иггерсу // Одиссей: Человек в истории. 2001: Русская культура как исследовательская проблема. –М.: «Наука». –2001. –413 с. –С. 155-161.
126. Уитроу Дж. Естественная философия времени/ Пер. с англ. Ю. Молчанова, В. Скурлатова, С. Шушурина. –М.: «Эдиториал УРСС», 2003. – 400 с.
127. Февр Л. Бои за историю/ Пер. с фр. –М.: «Наука», 1991. –529 с.
128. Фуко М. Археология знания/ Пер. с фр. С. Митина, Д. Стасова. –К.: «Ника-Центр», 1996. –208 с.
129. Фуко М. Ницше, генеалогия, история // Альманах «Ступени», № 1 (11) 2000. –СПб.: «Алетейя». –С. 103-121.

130. Фуко М. *Theatrum philosophicum* // Делез Ж. Логика смысла. –Фуко М. *Theatrum philosophicum*. –М.: «Раритет», Екатеринбург: «Деловая книга», 1998. –480 с.
131. Фюре Ф. О некоторых проблемах, поставленных развитием количественной истории // *Философия и методология истории*. –Б.: БГК им. И.А. Бодуэна де Куртене, 2000. –328 с. –С. 245-261.
132. Хазина А.В. Традиции пиров в «Истории» Посидония: этический аспект историописания // *Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира*. Под ред. Э.Д. Фролова. –СПб., 2002. –С. 221-233.
133. Харлап М.Г. Тактовая система музыкальной ритмики // *Проблемы музыкального ритма*. –М.: «Музыка». –1978. –293с. –С. 48-104.
134. Хаттон П.Х. История как искусство памяти/ Пер. с англ. В.Ю. Быстрова. –СПб.: Изд-во «Владимир Даль», 2004. –423 с.
135. Хейзинга Й. Осень средневековья: Соч. в 3 тт. Т.1/ Пер. с нидерл. –М.: Издательская группа «Прогресс – Культура», 1995. –416 с.
136. Холопов Ю.Н. Об античной ритмике. Метод музыкально-фонетической транскрипции. –2002. // <http://www.kholopov.ru/mmft.html>
137. Холопова В. Музыкальный ритм. –М.: «Музыка», 1980. –280 с.
138. Чех А. Ритмы символа // <http://www.philology.ru/marginalia/cheh-pro.htm>
139. Чухрукидзе К.К. Round & £. Модели утопии XX века. –М.: «Логос». –1999. –176 с.
140. Шеллинг Система трансцендентального идеализма // *Сочинения в 2 т. Т.1./ Пер. с нем. М.И. Левиной*. –М.: «Мысль», 1987. –637 с. –С. 227-489.
141. Шеллинг *Философия искусства/ Пер. с нем. П.С. Попова*. –М., 1966. – 496 с.
142. Шильман М. Абстракции в хронологии и периодизации истории // *Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна*. №486'2000. –С. 139-142.

143. Шифрин Б. Ритм и свидетельство (сознание на фоне лабиринта) // Международные чтения по теории, истории и философии культуры. – СПб., 1997. –Вып. 2. –С. 205-208.
144. Шкловский В.Б. Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля // О теории прозы. М., 1929. –С. 24-67.
145. Шмид В. Нарратология. –М.: «Языки славянской культуры», 2003. – 312 с.
146. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т.2/ Пер. с нем. М.И. Левиной. –М.: «Наука», 1993. –671 с.
147. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность/ Пер. с нем. К.А. Свасьяна. –М.: «Мысль», 1998. –663 с.
148. Эко У. Инновация и повторение: между эстетикой модерна и постмодерна // Философия эпохи постмодерна. Под. ред. А. Усмановой. – М., 1997. –С. 48-74.
149. Эко У. Остров накануне/Пер. с ит. –СПб.: «Симпозиум», 1999. –496 с.
150. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию/ Пер. с ит. А.Г. Погоняйло, В.Г. Резник. –ТОО ТК «Петрополис», 1998. –432 с.
151. Эксле О.Г. Факты и фикции: о текущем кризисе исторической науки // «Диалог со временем». Альманах интеллектуальной истории. Под ред. Л.П. Репиной. Выпуск 7. –М.: «Эдиториал УРСС», 2001. –392 с.
152. Юнгер Ф.Г. Ницше/ Пер. с нем. А.В. Михайловского. –М.: «Праксис», 2001. –256 с.
153. Jakobson P. Взгляды Боаса на грамматическое значение // Избранные работы. –М.: «Прогресс», 1985. –455 с. –С. 231-238.
154. Jakobson P. Вопросы поэтики // Работы по поэтике: Переводы. –М.: «Прогресс», 1987. –464 с. –С. 80-101.
155. Jakobson P. Ретроспективный обзор работ по теории стиха // Избранные работы. –М.: «Прогресс», 1985. –455 с. –С. 239-269.
156. Яковец Ю. Циклы. Кризисы. Прогнозы. М.: «Наука», 1999. –447 с.

157. Ямпольский М. Интернет, или постархивное сознание // Новое лит. обозрение, 1998. –№32. –С. 15-28.
158. Ямпольский М. Темнота и различие // <http://www.nlo.magazine.ru/philosoph/sootech/main15.html>
159. Ясперс К. Истоки истории и ее цель // Смысл и назначение истории/ Пер. с нем. М.И. Левиной. –М.: «Республика», 1994. –527 с. –С. 28-285.
160. Ястребицкая А.Л. О культур-диалогической природе историографического: Взгляд из 90-х. // XX век: Методологические проблемы исторического познания: Сб. обзоров и рефератов: В 2 ч. Ч.1. – М.: «ИНИ-ОН РАН», 2001. –236 с. –С. 8-53.
161. Althusser L. For Marx. Transl. by B. Brewster. London - New York: Verso. –1996. –P. 272
162. Ankersmit F. Invitation to Historians // Rethinking History 7:3 (2003), pp. 413–437.
163. Ankersmit F. Representation as the Representation of Experience // Metaphilosophy, Vol. 31, Nos. 1/2, January 2000, pp. 148-168.
164. St. Augustine De Musica. Цит. по: Якобсон Р. Ретроспективный обзор работ по теории стиха. –С. 245.
165. Bartes R. Elements of Semiology // <http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/barthes.htm>
166. Baudrillard J. Reversion of History // Baudrillard J. L'Illusion de la fin: ou La greve des evenements, Galilee: Paris, 1992. Transl. by C. Dudas. Цит. по: <http://www.uta.edu/english/apt/collab/texts/reversion.html>
167. Benveniste E. The Notion of 'Rhythm' in its Linguistic Expression // Problems in General Linguistics. Transl. by M.E. Meek. Coral Gables, Florida: University of Miami Press, 1971, pp. 281-289.
168. Beard C.A. Written History as an Act of Faith // American Historical Review, Volume 39, Issue 2, p. 219-231.
169. Berkhofer R. Beyond the Great Story: History as Text and Discourse. Cambridge, MA.: Harvard University Press, 1995.

170. Between Philosophy and Poetry. Writing, Rhythm, History. Ed. by R. Burch and M. Verdicchio, 2003. –232 p.
171. Braudel F. The History of Civilizations. Transl. R. Mayne. Allen Lane: The Pinguin Press, 1994. –600 p.
172. Carr E.H. What is History? Penguin Books, 1987. –188 p.
173. Carrard Ph. Poetics of the New History: French Historical Discourse from Braudel to Chartier. Parallax Re-visions of Culture and Society. Ed. by S.G. Nichols, G. Prince, and W. Steiner. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1992. –Pp. xix + 256.
174. Croce B. Letter to Charles A. Beard, 1933 // [http://www.historians.org/info/AHA\\_History/cabeard.htm](http://www.historians.org/info/AHA_History/cabeard.htm)
175. Crowell S. Mixed Messages: The Heterogeneity of Historical Discourse // History and the Limits of Interpretation. An interdisciplinary symposium. Rice University. 15-17 March 1996. Цит. по: [http://cohesion.rice.edu/humanities/csc/conferences.cfm?doc\\_id=352](http://cohesion.rice.edu/humanities/csc/conferences.cfm?doc_id=352)
176. Crowell S. Spectral History: Narrative, Nostalgia, and the Time of the I. // Research in Phenomenology; 1999, Vol. 29, p83, 20p.
177. Danto A. Narrative Sentences // History and Theory, Vol. 2, No. 2 (1962), 146-179.
178. Ernst Behler's «The Contemporary and the Posthumores». Roundtable Discussion // Surface, vol. VI, 1996, pp. 4-42.
179. Evans R.J. In Defence of History. Granta Books, 1997.
180. Fain H. Between Philosophy and History. Цит. по: Анкерсмит Ф. Нарративная логика. –С. 98.
181. Foucault M. Power/Knowledge, New York, 1980. Цит. по: Анкерсмит Ф. Нарративная логика. –С. 350.
182. Frank A.G. On «New World History». Reflection prompted by the selections in The New World History. A Teacher's Companion. Ed. by Ross E. Dunn [Bedford/St. Martins, 2000].

183. Frankfort H. The Birth of Civilization in the Near East. Цит. по: Уитроу Дж. Естественная философия времени. –С. 76.
184. Jameson F. The Political Unconscious. Narrative as a Socially Symbolic Act. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1981.
185. La Capra D. History and Reading: Tocqueville, Foucault, French studies. University of Toronto Press, 2000.
186. Lai Ch. Braudel's Historiography Reconsidered. Lanham, Md.: University Press of America, 2004. –Pp. x, 126.
187. Le Roy Ladurie E. The Territory of the Historian. Chicago, 1979.
188. Mandelbaum M. History, Man, and Reason: Study in Nineteenth-Century Thought. Baltimore, 1971.
189. Marwick A. The New Nature of History: Knowledge, Evidence, Language. Houndmills. Basingstoke: Palgrave Publishers, 2001. –Pp. xvi, 334.
190. McNeil W.H. Mythistory and Other Essays. University of Chicago Press, 1986. –Pp. 226.
191. McNeil W.H. *The Rise of the West After Twenty-Five Years* // Civilizations and world-systems: studying world-historical change. Ed. S.K. Sanderson. AltaMira Press, 1995. –P.331. –P. 303-319.
192. Mink L.O. The Autonomy of Historical Understanding // History and Theory, Vol. 5, No. 1 (1966). –P. 24-47.
193. Mink L.O. Historical Understanding. Ithaca and London: Cornell University Press, 1987.
194. Morse M. On the Utility of Classical Etymology for Sociology // Electronic Antiquity Vol. 1 Issue 3 - August 1993. <http://scholar.lib.vt.edu>
195. Rosenstone R.A. A History of What Has Not Happened // Rethinking History, vol. 4, № 2, 2000. –P. 183-193.
196. Roberts D.D. Nothing but History: Reconstruction and Extremity after Metaphysics.
197. Roberts G. Postmodernism versus the standpoint of action // History & Theory; 1997, Vol. 36 Issue 2, p249, 12p.



198. Rüsen J. Historical Narration: Foundation, Types, Reason // History and Theory, Vol. 26, No. 4, Beiheft 26: The Representation of Historical Events (Dec., 1987). –P. 87-97.
199. Rüsen J. Mourning by History – Ideas of a New Element in Historical Thinking // Historiography East & West 1:1, 2003. –P. 14-38.
200. Salmon J.H.M. Review essays: Ecris sur l'histoire. By Fernand Braudel. Paris: Flammarion, 1969. Pp. 314. // History and Theory, Vol. 10, No. 3 (1971). –P. 347-355.
201. Toews J.E. Intellectual History after the Linguistic Turn: The Autonomy of Meaning and the Irreducibility of Experience // American Historical Review; Oct87, Vol. 92 Issue 4, p851, 57p.
202. Turchin P. Complex Population Dynamics: A Theoretical/Empirical Synthesis. Princeton University Press. Chapter 1. // <http://pup.princeton.edu/chapters/s7436.html>
203. Turchin P. Historical Dynamics. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2003. –235pp.
204. Wallerstein I. The Modern World-System and Evolution // Journal of World-Systems Research: Volume 1, Number 19, 1995.
205. Wallerstein I. Writing History. Key-text for Session on «Writing History», at the Colloquium on History and Legitimation, «[Re]constructing the Past», 24-27 February 1999, Brussels. // <http://www.binghamton.edu/fbc/iwchv-hi.htm>
206. White H. Content of the Form. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987.
207. White H. Historicism, History, and the Figurative Imagination // History and Theory, Vol. 14, No. 4, Beiheft 14: Essays on Historicism (Dec., 1975), 48-67.
208. White H. Tropics of Discourse. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

Продолжением мысли о длинных количественных рядах, которые предоставляют в наше распоряжение материал для моделирования истории в глобальном масштабе, становятся попытки проследить структурные корреляции между такими рядами. Получаемые в результате наблюдения характерные распределения данных о роли природных и социальных факторов в подразумеваемом историческом процессе, служат аргументами в пользу выдвинутой нами ранее [13] гипотезы о возможной ритмической структуре его представления.

Считая детальные описания и причинные объяснения прерогативой исторической дисциплины, мы ориентируемся исключительно на создание репрезентативной карты-схемы прошлого. Количественная «картография прошлого» может позволить историку, как говорит Обер (Ober), «...надеяться смоделировать прошлое имеющими резон и подвергаемыми тестированию способами» [43, P.135], т.е. произвести собственно историографическое изделие, чье назначение, – «...представить некоторый аспект прошлого способом, который является значащим и полезным» [там же].

Безусловно, мы отдаем себе отчет в том, что любая попытка формального структурирования сталкивается с необходимостью конкретного датирования тех или иных моментов и установления определенных хронологических последовательностей. Это акцентирует тот факт, что всякие обобщения, вытекающие из осмысления взаимного расположения длинных временных рядов, имеют метафорический оттенок и представляют собой, по словам Джеймса, «составные картинки-загадки», несущими элементами которых становятся рамки датируемой структуры. Учитывая несомненную важность датировок для исследования исторической ритмики, равно как и практику их постоянных уточнений в ходе специальных исторических исследований, приходится согласиться с тем, что именно «датировка... является критическим аспектом контекста» [34, P.i]. В таком случае предлагаемый ритм дат неизбежно форматирует поле, в котором могут происходить

последующие интерпретации отдельных исторических событий и придания смысла той или иной их совокупности.

## А.1. Природные факторы

### А.1.1. Сейсмическая и вулканическая активность

Анализируя влияние вулканических извержений на планетарные климатические изменения, Дж. Дейтон (Dayton) отмечает XXIV, XVII и XII вв. до н.э. как периоды, когда вулканическая деятельность была особо интенсивна [26]. Присоединяясь к такому мнению, М. Бейли (Bailey) констатирует, что эти датировки не вызывают сомнений у большинства исследователей, которые также регистрируют повышение вулканической активности в конце III в. до н.э. и в середине VI в. [15]. База данных по истории извержений вулканов в голоцене [48] позволяет оценить интенсивность вулканической деятельности в Средиземноморье во 2-й пол. I тыс. до н.э. Кривая 3 на Рис. А.1.1. показывает, что с VII в. до н.э. число извержений вулканов растет, достигая текущего максимума в I в. до н.э.

Анализ сейсмической активности в Средиземноморье и Передней Азии позволяет А. Нуру (Nur) утверждать, что разрушение десятков крупных городов, произошедшее после 1400 г. до н.э., вызвано вереницей мощных землетрясений. Исследования, проведенные для Восточного Средиземноморья, обусловили утверждение о компактной серии землетрясений, произошедших в конце XIII-го - начале XII-го вв. до н.э. [41]. Нур полагает, что в XIII в. до н.э. от Южной Италии до Центральной Турции пронесся «шторм землетрясений», и маркирует период разрушения городов Леванта XIII-VIII вв. до н.э. [42, Р.14]. Сходным образом отмечается существенная роль землетрясений в V и I вв. до н.э., а IV в. – как время «сейсмического кризиса» в Северной Анатолии [40]. Также имеют место гипотезы о землетрясениях как о возможной причине разрушения в XIX в. до н.э. культуры Хараппы и в конце IX в. – городов майя [16].

Ряд данных Нура подтверждается базой каталога известных землетрясений [19], при помощи которой есть возможность в общих чертах определить изменение общего числа землетрясений и числа землетрясений с магнитудой не менее 6.0 с XXII в. до н.э. Результаты обработки данных, представленные на Рис. А.1.1., дают основания отметить времена высокой сейсмической активности: XXIII(?)-XXII вв. до н.э., XIX в. до н.э., XVI-XV(?) вв. до н.э., XIII-XI вв. до н.э., V-III вв. до н.э., I в., IV-VI вв., IX в.

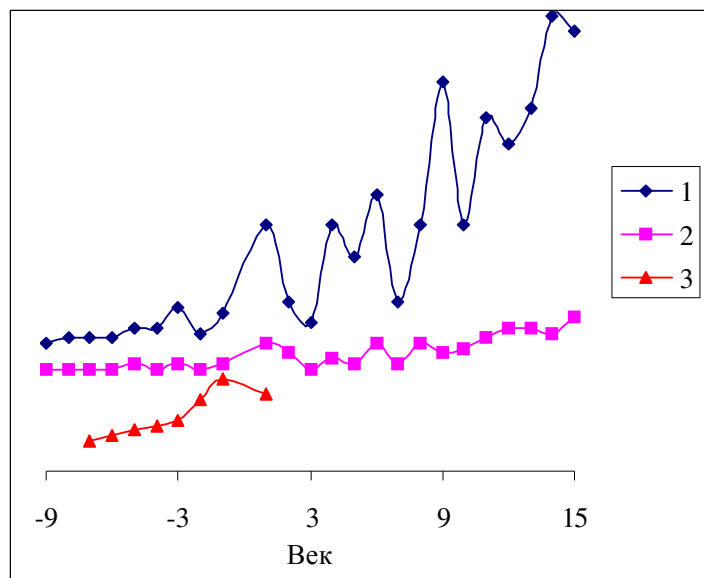


Рис. А.1.1. Показатели вулканической и сейсмической активности: 1 – общее число землетрясений; 2 – число землетрясений с магнитудой не менее 6.0; 3 – число извержений вулканов в Средиземноморье.

#### А.1.2. Температурные изменения и колебания уровня мирового океана

Комплексная реконструкция и модельные расчеты среднегодовой температуры, проведенные В. Клименко для XXXV-I вв. до н.э. [3] и VI в. до н.э. – VIII в. [4], показывают наличие череды периодов потеплений и похолоданий. Опуская попытки автора отыскать причинную связь между периодами сходных температурных условий и типами исторических событий, мы обращаем внимание исключительно на ритмичность чередования этих периодов. С ними представляется целесообразным сопоставить результаты исследований М. Блоха (Bloch), направленные на определение

изменения уровня мирового океана. Аналогичным образом, пренебрегая гипотезами о связи этих изменений с интенсивность таяния полярных льдов, мы используем численные показатели, полученные на основе гидрологического анализа закрытых водоемов [17]. Обобщение и совмещение результатов обоих исследований, представленное на Рис. А.1.2., обуславливает возможные заключения о характере изменений климатических условий. По сдвоенному ряду данных, охватывающих период с XXII в. до н.э. по VIII в., отмечаются периоды температурных максимумов, совпадающие с повышением уровня моря: XIX-XVII вв. до н.э., XI-X вв. до н.э. и II-IV(?) вв. Они чередуются с периодами температурных минимумов, которые совпадают в ряде случаев с понижением уровня моря: XX(?) - XXI вв. до н.э., XV-XIII вв. до н.э., VII-III(?) вв. до н.э. и XI-XII вв. Подтверждением тому могут служить обобщения Дергачева [2], согласно которым последние 3 фазы глобального синхронного изменения климата на планете маркируются IX-III вв. до н.э., VII-XII вв. и XV-XIX вв.

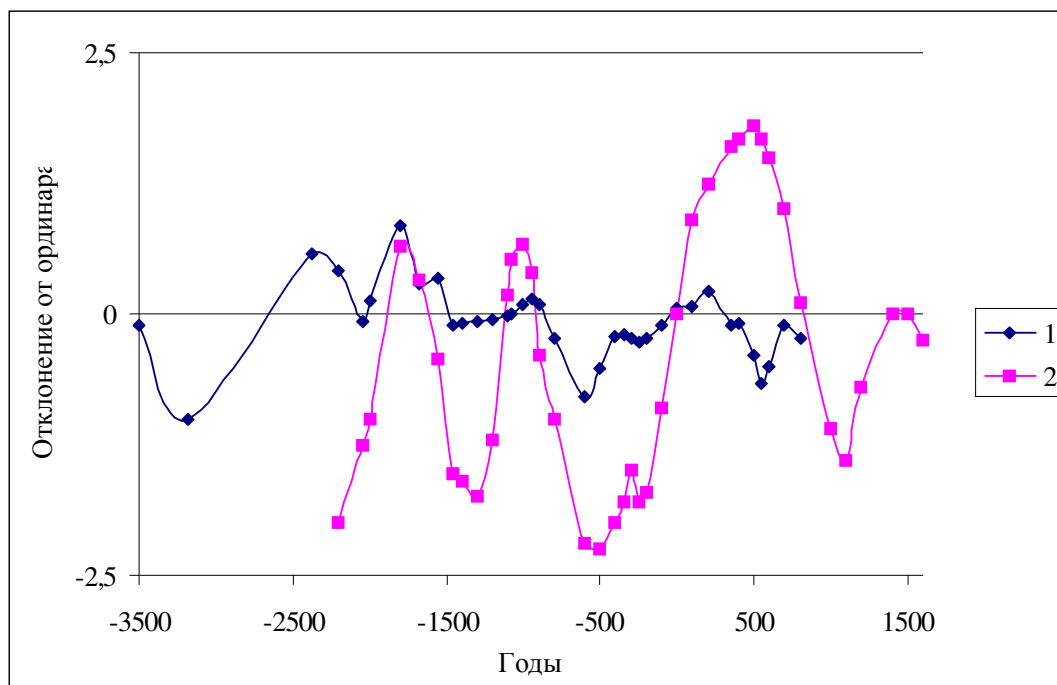


Рис. А.1.2. Динамика изменения среднегодовой температуры по расчетам В. Клименко (1) и уровня мирового океана по данным М. Блоха (2).

### А.1.3. Колебания климата

Б. Пейсер (Peiser) оценивает XXIII-XXI вв. до н.э. как время первого «краха цивилизации», совпадающее с климатической катастрофой, которая сопровождалась наводнениями, повышенной сейсмической активностью, резким изменением уровня мирового океана [44]. Его датировка в общих чертах согласуется с одной из дат Дейтона (после XXIV в. до н.э.), отмечающей повышенную вулканическую активность, и косвенно подтверждается статистикой сейсмической активности (XXIII(?)-XXII вв. до н.э.). Помимо ссылок на массив специальных исследований, Пейсер апеллирует к гипотезе Х. Вайса (Weiss), согласно которой конец III тыс. до н.э. ознаменовался тотальным социальным крахом [52], вызванным резким изменением климатических условий.

На основании археологических исследований Вайс настаивает на том, что изменение образа жизни древних обществ был вызван необходимостью их адаптации к изменившемуся климату. Он считает засушливый климат причиной ослабления городских центров Месопотамии в XXII-XXI вв. до н.э. и окончания пика экономической активности древних обществ, приходящегося ориентировочно на 2300 г. до н.э. [55]. Вайс утверждает, что в течение XXIII в. до н.э. внезапная засуха стала едва ли не основной причиной разрушения империи Аккада [53]. Она же прервала расцвет других оседлых народов Восточного Средиземноморья, Анатолии, Месопотамии, Египта, долины Инда и т.д., а также спровоцировала активное вторжение кочевников в сельскохозяйственные области [54]. Утверждение Вайса о наступлении засухи в XXIII в. до н.э. согласуется с палеоклиматическими данными Клименко, согласно которым пик повышения температуры приходится на XXIV в. до н.э. П. Кунихольм (Kuniholm) также отмечает XXIII в. до н.э. (наряду с XVII-м и XII-м вв. до н.э.) как момент резкого изменения климата, причиной которого мог служить всплеск вулканической активности [36, Р.38].

## А.2. Социальные факторы

### А.2.1. Волны миграций

Косвенным подтверждением пертурбаций XXIII в. до н.э. может также служить повышенная активность кочевых народов, датируемая XXIV в. до н.э. Е. Черных выделяет 7 глобальных миграционных волн (C-waves), прокатившихся по Евразии с периодом в 7-10 веков и отражающих ритмичность движения кочевников: XXXIV-XXXI вв. до н.э., XXVI-XXIV вв. до н.э., XVIII-XVI вв. до н.э., XII-X вв. до н.э., IV-III вв. до н.э., IV-VII вв., XI-XIII вв. [25, P.296-309]. Предлагаемая им модель не противоречит модели М. Гимбутас, согласно которой проникновение номадов с востока на территорию Европы происходило с 4500 г. до н.э. по 2500 г. до н.э. Три волны переселения ею ориентировочно датированы XLIV в. до н.э., XXXV в. до н.э. и XXIX в. до н.э. [33, P.352].

Продолжая мысли Черных о роли движения кочевников в жизни древних обществ, В. Томпсон (Thompson) пытается проследить связь между циклами миграций и системными политическими и торговыми кризисами Древнего мира [50], приводя базу данных, суммирующую сообщения исторических источников о вторжениях кочевников на территорию Египта и Месопотамии [49]. Статистика вторжений, сделанная нами на основании обработанных данных Томпсона и представленная на Рис. А.2.1, свидетельствует о росте числа вторжений ок. 3000 г. до н.э., в XXVI-XXIII/XXII(?) вв. до н.э., в XVIII-м, XVI-м и XIII в. до н.э. В то же время низкая активность номадов фиксируется в XXVIII в. до н.э., XXI-XX вв. до н.э. и в IX в. до н.э.

Датировка первого текущего максимума соответствует и маркировке Гимбутас, и модели Черных; второго – датировке 2-го цикла модели Черных; последняя – совпадает по времени с началом движения «народов моря». Датировки XVIII и XVI вв. до н.э. согласуются с миграционным циклом XVIII-XVII вв. до н.э., который отмечен Черных как имевший место, но не повлекший за собой столь глобальных последствий как предыдущие

и последующие [10, С.21]. Спектр полученных результатов позволяет Томпсону присоединиться к мнению ряда исследователей относительно того, что в Средиземноморье имел место кризис в XIII-XII вв. до н.э. и «возрождение» в IX в. до н.э. [51].

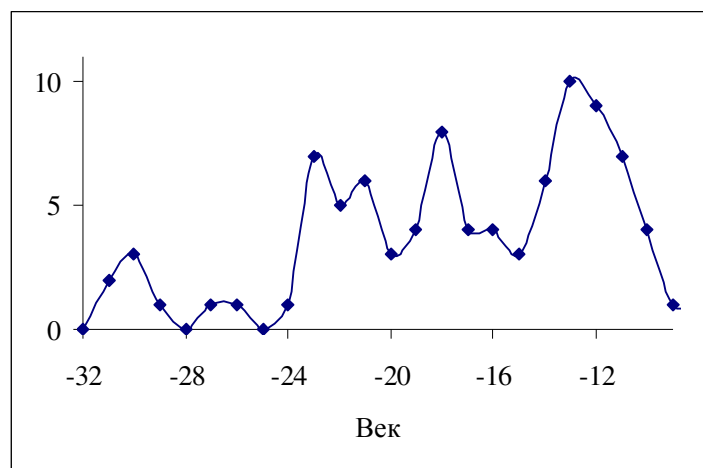


Рис А.2.1. Интенсивность вторжения номадов на территории Египта и Месопотамии по данным В. Томпсона.

#### А.2.2. Фазы экономических трансформаций

Кризисные явления, приходящиеся на конец III тыс. до н.э. и 2-й пол. II тыс. до н.э., совпадают с датировкой периодов мирового экономического процесса, предлагаемой Дж. Модельским (Modelski) и В. Томпсоном [39, Р.125] в качестве фаз комплексных социальных изменений. Окончания первых 4-х из них маркируются 2200, 1200, 100 гг. до н.э. и 930 г.

Представление экономических трансформаций в масштабах Afro-Eurasia как чередующихся фаз подъема и спада предлагается и в концепции А.Г. Франка (Frank) – Б. Гиллса (Gills). В ней производится попытка учета различных факторов, участвующих в социальных изменениях – экологических, демографических, политических и пр. В частности, авторы отмечают несколько волн миграций: XVII-XVI вв. до н.э., XII-XI вв. до н.э., ок. 500 г. до н.э., I в. до н.э.-I в., V-VI вв. и XI-XIII вв. [31, Р.87]. Здесь их датировка в общих чертах совпадает с датировками Черных. Примечательно, что сопоставление волн миграций по версии Черных и по версии



Франка с вышеуказанной датировкой периодов экономического роста, представленное на Рис. А.2.2., показывает, что констатация комплексных социальных изменений производится в «зазорах» между глобальными миграционными волнами. Однако по этой логике подлежит сомнению утверждение Франка о волне миграции, датируемой рубежом эр.

Что касается экономических циклов длительностью около 500 лет, то первые 5 из них Франк датирует 3100-2600 гг. до н.э., 2600-2000 гг. до н.э., 2000-1500 гг. до н.э., 1500-1000 гг. до н.э. и 1000-550 гг. до н.э. При этом, моменты размежевания фазы подъема и фазы спада, составляющих каждый цикл, датируются соответственно 2800, 2300, 1750, 1200 и 800 гг. до н.э. [32]. Начиная с VII-VI вв. до н.э. (по уверению самого Франка) датирование циклов становится более сомнительным и менее четким. Как и было отмечено нами ранее [12, С.75] с сер. I тыс. до н.э. в регулярной схеме Франка наблюдается уменьшение длительности цикла (с 600/500 до 100 лет). Косвенным подтверждением этой чересчур «гибкой» датировки циклов и их фаз может служить и то, что они имеют определенный разброс, подвергаясь уточнениям в каждой последующей работе (ср. аналогичные даты в [28, 29]). Сомнению не подлежит лишь то, что синхронные для Аффо-Евразии экономические циклы выявляются с конца IV тыс. до н.э.

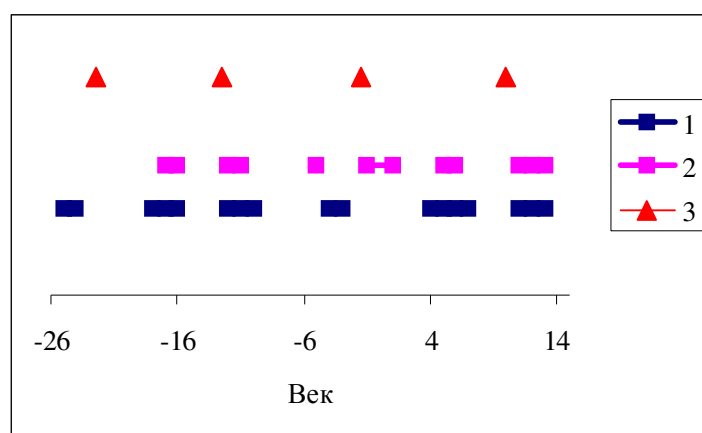


Рис А.2.2 Датировка глобальных волн миграции по версии Е. Черных (1), периодов активной миграции по версии А.Г. Франка (2), окончаний фаз комплексных социальных изменений по версии Дж. Модельского и В. Томпсона (3).

### А.2.3. Демографические циклы

Проведенная нами в отдельной работе [12, С.76-77] оценка демографических показателей в масштабах Афро-Евразии, опирающаяся на результаты исследования К. Чейз-Дана (Chase-Dunn) [21], позволила отметить два демографических цикла в промежутке с VII в. до н.э. по XIV в. длительностью около 700 лет. Допуская, что политическая и социальная стабильность зависит от демографических процессов в большей степени на ранних этапах формирования цивилизации, мы видим необходимость проанализировать также модельные расчеты региональных демографических циклов, представленные С. Нефедовым [7, 8].

Рассматривая структуру истории до-индустриальных обществ как череду циклов роста численности населения, большая часть из которых завершается демографической катастрофой (интерциклом), Нефедов прослеживает за период с XXIII в. до н.э. по XIV в. более 40 региональных циклов этого рода. Результат проведенного нами статистического анализа числа длящихся демографических циклов и моментов демографических катастроф представлен адаптированной кривой на Рис. А.2.3., согласно которой XI-X вв. до н.э. и III-IV вв. можно считать временами явной демографической нестабильности. Есть основания предполагать сходную ситуацию в XVI и III-II вв. до н.э., а также в IX в.

В пользу такой датировки говорят и выводы К. Рассела (Russel), отмечающего XI и III-II в. до н.э., III, VI и IX вв. как времена демографических катастроф [45]. Показательно и то, как датирует К. Мак-Эведи выделяемые им три глобальных демографических цикла. Окончание 1-го цикла приурочено им к началу III в., в то время как ускорение темпов прироста населения маркируется концом IV тыс. до н.э. Переходная фаза, относящаяся к 2-му циклу, длится вплоть до X в., с которого отмечается интенсификация демографического роста. Последний цикл начинается в XV в. [37, Р.345-346]. В результате III, X и XV века выделяются как характерные моменты изменений мировой демографической динамики.

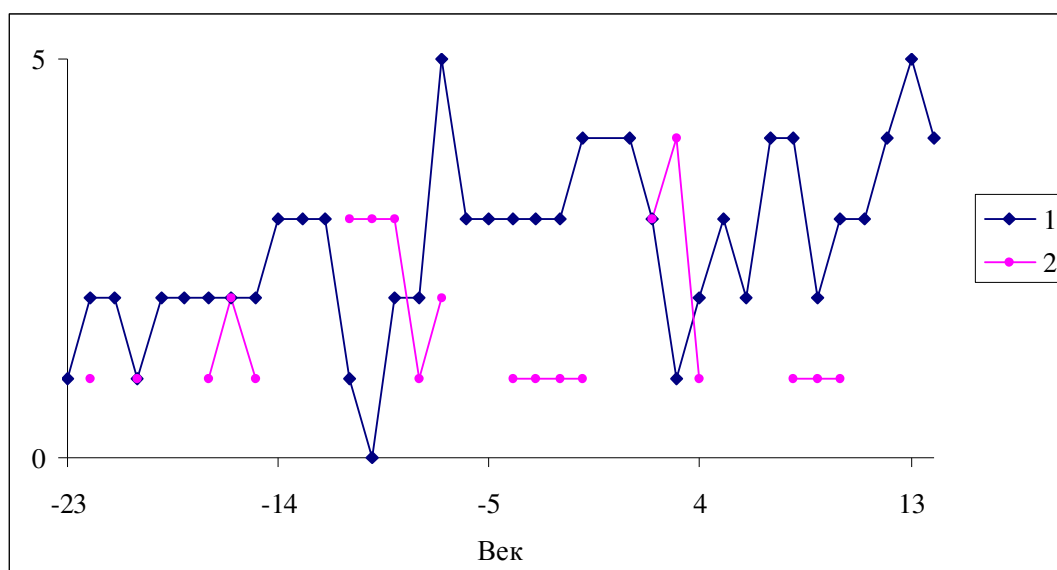


Рис А.2.3. Общее число региональных демографических циклов (1) и интерциклов (2) по данным С. Нефедова.

Окончание времени цикла (как фазы демографического роста) временем интерцикла (экосоциальным кризисом) определяется Нефедовым как по непосредственным данным о численности населения, так и по характерным приметам, в числе которых – эпидемии, восстания и гражданские войны, внешние войны [7, С.107]. Эта точка зрения созвучна позиции С. Циреля, исследующего циклы сельскохозяйственных империй и замечаящего, что завершения демографических волн совпадают в максимальной перспективе и в общих чертах с периодами политических кризисов [9]. То же структурное построение поддерживает и А. Крадин, считающий, что только в периоды кризисов и распадов оседлых обществ экономический и политический вакуум провоцировал массированные вторжения кочевников на сопредельные территории [5, С.326].

#### А.2.4. Показатели урбанизации

Как было уже отмечено выше, в период XIII-XII вв. до н.э. рядом исследователей отмечается массовое разрушение крупных городов (Куинхольм оценивает их количество как 70-90% от общего числа [35, Р.653]) и

уменьшение общей численности городского населения. Игнорируя гипотетические причины этого явления, мы обращаем внимание на его количественные показатели. К. Чейз-Дан и А. Виллард [21] с использованием данных о населении крупнейших городов мира Т. Чандлера (Chandler) [20] и собственной скорректированной базы данных демонстрируют динамику общих демографических показателей и показателей степени урбанизации. Представленная на Рис. А.2.4. кривая 1 построена по этим данным с привлечением оценки населения древнейших городов, проведенной Дж. Модельским [38]. На ее основании мы можем полагать, что падения численности городского населения приходятся на 1200 г. до н.э., IV в. и XII вв., что согласуется с датировками миграционных циклов Черных и не противоречит датировкам Нура.

Не меньший интерес представляет также оценка отношения численности крупнейших городов к общему уровню городского населения, проводимая Чейз-Даном и Т. Холлом (Hall) с помощью определения коэффициента городской иерархии (SPIs – Standardized Primacy Indices) [22, P.125]. На основании кривой 2 Рис. А.2.4., построенной по этим данным, можно сделать вывод о том, что процент крупных городов резко уменьшался в течение XIII в. и последовательно рос вплоть до VII в. до н.э.

Аналогичный результат дает также оценка числа крупнейших городов в различных регионах мира, проведенная А. Босвортом (Bosworth) при анализе схемы экономических циклов Франка [18, P.212]. По результатам его исследования мы определяем изменения суммарного числа крупнейших городов мира, что представлено кривой 3 на Рис. А.2.4. По данным Чандлера (на которых основывался Босворт) появление 1-го города с населением более 200 тыс. чел. относится к VII в. до н.э.; появление городов с населением более 500 тыс. чел. – к VII-VIII и XV вв. [20, P.521, 527]. Выстраиваемая же Босвортом по собственной методике кривая, отражающая изменение показателя городской иерархии в масштабах всего мира за пе-

риод с 500 г. до н.э. [18, Р.221], ритмически повторяет кривую, полученную в ходе исследований Чейз-Дана.

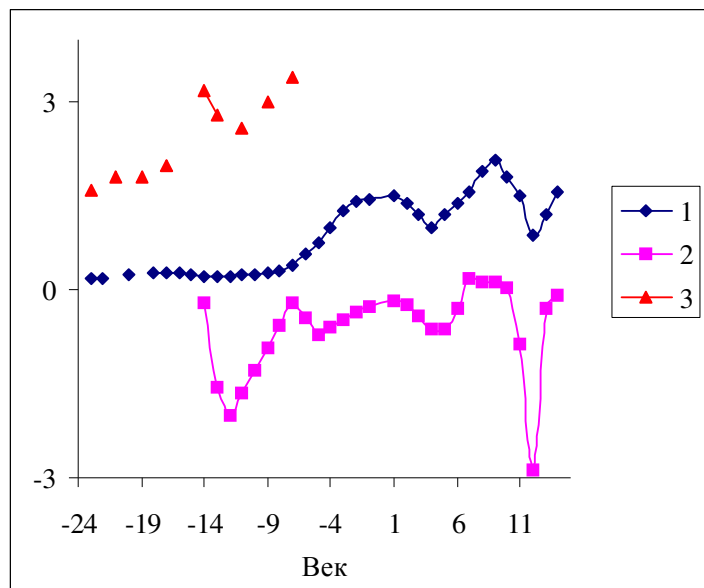


Рис. А.2.4. Изменения численности городского населения (1) и показателя городской иерархии (2) по данным К. Чейз-Дана, А. Виллард, Дж. Модельского, Т. Холла, общее число крупнейших городов мира (3) по данным А. Босворта и Т. Чандлера.

В итоге мы предполагаем высокие показатели урбанизации в XXI, XIV, VII, I вв. до н.э., а также в VII-VIII и XIV-XV вв. Кроме того заслуживает особого внимания констатация Чейз-Даном и Холлом синхронии в масштабах Афро-Евразии, а также ритмической адекватности процессов урбанизации и военно-политических процессов [23, р.214-222].

#### А.2.5. Ритмы политической интеграции

Оценка показателей урбанизации, проведенная в рамках исследований Чейз-Дана [24], подтвердила факт определенной синхронии динамики изменения численности городского населения древних обществ и динамики изменения общей площади империй, определяемой на основании данных Р. Таагеперы (Taagepera) [47]. Имперские образования подчиняют себе максимальные пространства в XXIII, XIII, VI вв. до н.э., I, VI-VIII и XIII

вв. и теряют подконтрольные территории в XXI, X-VIII, IV вв. до н.э., II-IV, XII вв.

Продолжая исследования различных аспектов централизации власти и фаз политической интеграции, мы провели отдельное исследование, направленное на определение изменения общего числа политически независимых государственных структур [14]. Результат статистического анализа, представленный на Рис. А.2.5. показал, что в с XXVIII в. до н.э. по VIII в. наблюдаются изменения общего числа суверенных государств, происходящие в ритме изменений суммарной площади империй. Рост их общего числа приходится на XXI, XIV, VII, II-I вв. до н.э. и VII в.; падение – на XVII, XI, V-IV вв. до н.э. и III в.

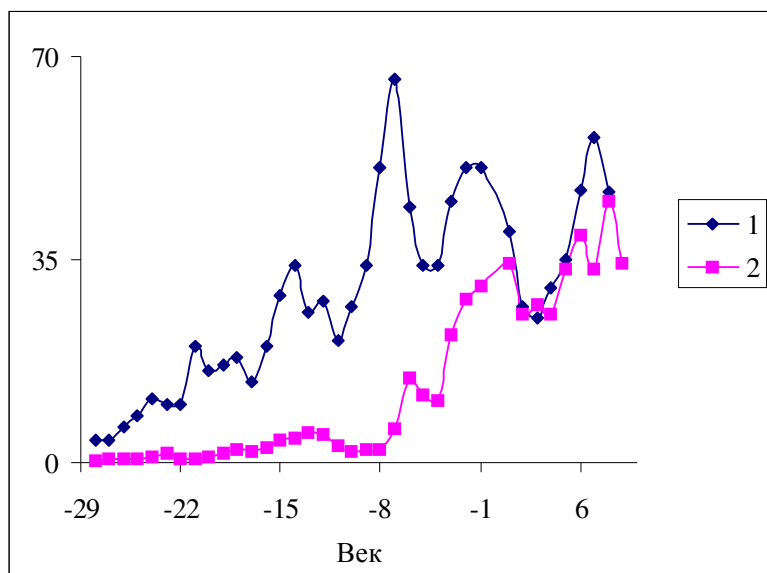


Рис А.2.5. Изменение общего числа независимых государственных структур по данным автора (1) и суммарной площади империй по данным Р. Таагеперы (2).

Синхронность расширения имперских образований и увеличения числа независимых государств, граничащих с империями, лишь подтверждает тезис Крадина о том, что степень централизации кочевников прямо пропорциональна величине соседней земледельческой цивилизации [5, с. 318].

Совмещение полученных кривых с данными, касающимися процессов урбанизации, миграционной динамикой и демографическими циклами, позволили нам сделать предположение о ритмическом характере процесса политической интеграции в период с XIV в. до н.э. по XIV в. в масштабах Афро-Евразии с периодической составляющей порядка 600-700 лет [46]. Косвенным свидетельством в пользу такого предположения может также служить статистический анализ динамики массовых движений, проведенный Э. Азроянцем, который выделяет циклы продолжительностью около 600 лет, датируемые следующим образом: V в. до н.э. – II в., III – IX вв., X – XVI вв., XVII – XXIII(?) вв. [1].

#### А.2.6. Цикличность военной активности

Рассматривая войны наряду с миграциями в качестве одного из наиболее заметных факторов социально-политических трансформаций, мы считаем необходимым проанализировать изменения интенсивности военной деятельности в масштабах Афро-Евразии. Как свидетельствуют статистические данные Р. Депю (Dupuy) [27] о числе наиболее значимых военных столкновений, произошедших с XV в. до н.э. по XV в., наблюдается несколько отчетливых всплесков военной активности. При совмещении на Рис. А.2.6. кривой 1, представляющей изменение общего числа зафиксированных в истории сражений, и кривой 2, отражающей общее число всеобщих войн согласно данным, которые приводятся в исследовании М. Мелко [6], мы можем наблюдать определенное чередование периодов т.н. «мира» и «войны».

В продолжение анализа гипотезы о циклах всеобщей войны и с учетом исследований краткосрочных военных циклов, есть резон говорить о колебании уровня военной активности в глобальном масштабе. При этом наиболее заметные максимумы приходятся на IV-III вв. до н.э., VII-VIII, XIII вв., а явные минимумы – на I-II и IX-X вв.

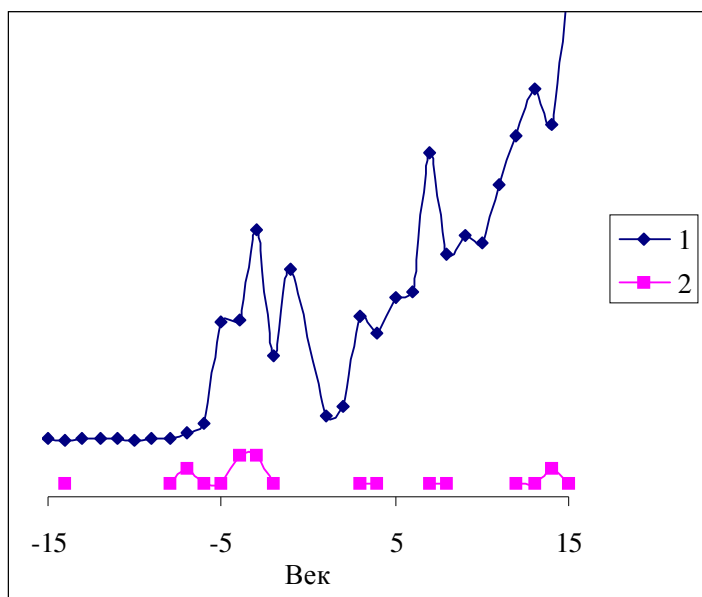


Рис. А.2.6. Общее число военных столкновений по данным Р. Дюпи (1) и общее число всеобщих войн по данным М. Мелко (2).

Совмещение этих дат с периодами отчетливой стабилизации культур (XVIII/XVII-XIII/XII вв. до н.э. и VIII-VI вв. до н.э.) и деструктивными периодами (V-III вв. до н.э. и III-VI вв.), выделяемых Черных [11, С.39-40], еще раз подчеркивает неоднозначность войны как социального фактора.

### А.3. Модель

Предлагая структурную модель истории в масштабе большой длительности, мы ставим задачу продемонстрировать один из возможных количественных балансов, представляющий суперпозицию показателей, полученных на основании статистического анализа отмеченных выше параметров. Задача подобного рода неявным образом требует создания схемы периодизации, отражающей постулируемую историческую динамику и принцип членения получаемой в результате тотальной истории. При этом мы солидарны с точкой зрения Франка, согласно которой «...нет никаких исключительных исторических периодов... самое большее есть эволюция среди переходов, которые, в свою очередь, являются переходами от одного перехода к другому» [30]. Это означает, что выделяемые нами в дальней-



шем какие-либо даты, века или промежутки времени не являются маркерами универсальных периодически повторяющихся перерывов.

Для того чтобы проследить определенную корреляцию между различными природными и социальными процессами, с помощью Табл. А.3. мы совмещаем массивы обобщенных данных, руководствуясь датировками, которые зафиксированы в параграфах А.1.1 – А.2.6.

В их числе:

1 – волны миграций по версии Е. Черных (X) и пиковые моменты массовых движений по версии Э. Азроянца (\*);

2 – периоды повышенной сейсмической и вулканической активности по данным А. Нура, Дж. Дейтона и др.;

3 – времена экстремальных климатических условий по данным В. Клименко, М. Блоха, П. Кунихольма, Х. Вайса и др.;

4 – демографические кризисы по версии С. Нефедова с учетом датировок К. Рассела (X) и характерные моменты глобальных демографических циклов по версии К. Мак-Эведи (\*);

5 – моменты отсутствия всеобщих войн по версии М. Мелко (X) и моменты спада глобальной военной активности по данным Р. Дюпи (\*).

Нельзя не заметить, что XXI, XIV, VIII-VII вв. до н.э., а также VIII и XV вв. не отмечены глобальными миграциями, природными катаклизмами и демографическими коллапсами, но квалифицируются как периоды всеобщей войны. Иное положение вещей наиболее заметно на примере XXIII, XVII-XVI, XII-X вв. до н.э., а также VI и XI вв., когда отсутствие стабилизирующего эффекта всеобщих войн усиливается тяжелой природной и демографической ситуацией. Исходя из этого, можно предположить наличие структуры, где происходит регулярное чередование временных периодов двух типов, а сходные фазы разделяет приблизительно 7 веков. При этом ритм ряда XXI, XIV, VIII-VII вв. до н.э., рубеж эр, VII(?)-VIII, XIV(?)-XV вв. «повторяется» в ритме ряда XXIII, XVII-XVI, XII-X, III(?) вв. до н.э., V(?)-VI, XI вв.

Табл. А.3.1. Корреляции природных и социальных параметров

Век	1	2	3	4	5
-25	X				
-24	X	X			
-23		X	X	X (?)	X
-22		X	X	X (?)	
-21					
-20				X (?)	X
-19		X			
-18	X		X		
-17	X	X	X		X
-16	X	X		X	
-15		X	X		X
-14					
-13		X			X
-12	X	X	X		X
-11	X		X	X	X
-10	X		X	X	X
-9					X
-8					
-7					
-6			X		
-5	X	X			
-4	X	X		X (?)	
-3	X *	X	X	X	
-2				X (?)	
-1		X			X
1					X *
2					X *
3	*		X	X *	
4	X	X	X		
5	X	X			X
6	X	X	X	X	X
7	X				
8					*
9		X		X	X *
10	*			*	X *
11	X	X	X		X
12	X		X		
13	X				
14		X		X	
15				*	

Для приведения доказательств в пользу правдоподобности предлагаемой ритмической схемы мы выстраиваем суперпозицию кривых, каждая из которых отражает характер динамики политических, экономических и демографических процессов. Их синхронная развертка в глобальном масштабе за период времени с XXV в. до н.э. по XIV в. представлена на Рис. А.3.1.

Анализ получаемой картины позволяет усмотреть логику повторяющихся состояний, а также ритм их чередования.

В XIV (XIII) в. до н.э. низкий миграционный фон сопряжен с ростом империй, числа крупных городов и количества независимых государств.

В XII-X вв. до н.э. активность кочевников при низкой военной активности совпадает с падением городов и независимых государств при общем ослаблении империй и стабилизации демографической ситуации.

В VII (VI) в. до н.э. низкому уровню миграций соответствует увеличение количества независимых государств и расширение империй при росте числа крупных городов и обострении демографической ситуации.

В IV в. до н.э. период всеобщих войн совпадает с волной глобальных миграций, ростом количества сражений, падением числа независимых государств и крупных городов, сокращением площади территорий, контролируемых империями и стабилизацией демографической ситуации.

На рубеже эр ослабление военной и миграционной активности сопровождается ростом числа независимых государств, расширением империй, ростом крупных городов и городского населения в целом, что ведет к ухудшению общей демографической ситуации.

В III (IV) в. падение числа независимых государств, убыль городского населения, снижение процента крупных городов и сокращение имперских территорий совпадает с разрешением демографических проблем и началом очередной волны вторжения кочевников

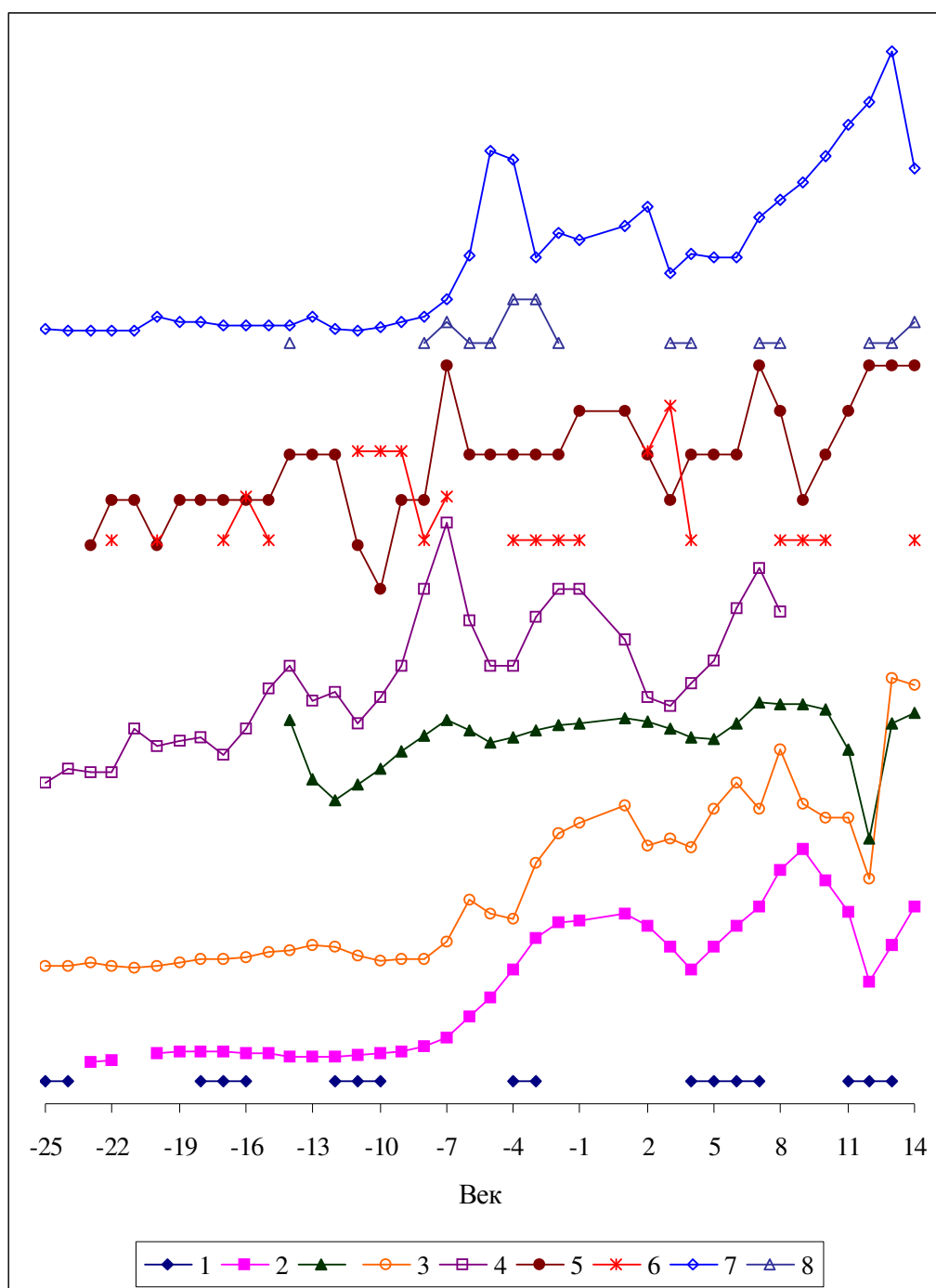


Рис. А.3.1. Синхронная развертка: 1 – волны глобальных миграций (по Е. Черных), 2 – численность городского населения (по К. Чейз-Дану и Дж. Модельскому), 3 – показатель городской иерархии (по К. Чейз-Дану), 4 – общая площадь империй (по Р. Таагепере), 5 – число независимых государственных структур (по М. Шильману), 6,7 – число демографических циклов и интерциклов соответственно (по С. Нефедову), 8 – число военных столкновений (по Р. Дюпи), 9 – циклы всеобщей войны (по М. Мелко).

В VII (VIII) в. с окончанием массовых миграций и ростом военной активности на фоне демографических проблем заметно укрупнение городов, расширение империй и увеличение числа независимых государств.

В XII в. волна миграций совпадает с временем всеобщих войн и активизацией военной деятельности, демографической стабилизацией, а также с резким падением численности городского населения, уменьшением количества крупных городов, сокращением площади империй.

На основании полученных результатов можно предложить в качестве крупномасштабной модели до-индустриальной истории, достойной исследовательского интереса, ритмическую схему, в которой происходит практически регулярное чередование временных периодов двух типов, которые весьма условно можно назвать фазами «подъема» и «спада». При этом ритм ряда XXI(?), XIV-XIII, VII-VI вв. до н.э., рубеж эр, VII-VIII, XIV(?) вв. аналогичен ритму ряда XVII(?), XII-X, IV вв. до н.э., III-IV, XII вв. Обобщая имеющиеся данные и экстраполируя усматриваемую периодичность, мы полагаем, что в такой модели экстремумы сходных фаз, датировка которых дана в Табл. А.3.2., разделяет приблизительно 7 веков.

Табл. А.3.2.

№ п.п.	Пик т.н. «подъема»	Пик т.н. «спада»
1		ок. 3000 г. до н.э. (?)
2	XXVIII (?) до н.э.	XXIV-XXIII вв. до н.э.
3	XXI в. до н.э.	XVII в. до н.э.
4	XIV-XIII вв. до н.э.	XII-X вв. до н.э.
5	VII-VI вв. до н.э.	IV-III вв. до н.э.
6	I в. до н.э. - I в.	III-IV вв.
7	VII-VIII вв.	XII в.
8	XIV в.	

## ЛИТЕРАТУРА

1. Азроянц Э.А. Вдохи и выдохи истории // [http://ss.xsp.ru/st/002/index\\_1.php](http://ss.xsp.ru/st/002/index_1.php)
2. Дергачев В.А. Радиоуглеродный хронометр // Природа, 1994. –№1. –С. 3-15.
3. Клименко В.В. Климат и история в эпоху первых Высоких культур // Восток, 1998. –№4. –С.5-24.
4. Клименко В.В. Климат и история от Конфуция до Мухаммада // Восток, 2000. –№1. –С. 5-31.
5. Крадин Н.Н. Кочевники, мир-империи и социальная эволюция // Альтернативные пути к цивилизации. –М.: Логос. –2000. –386 с. –С. 214-335.
6. Мелко М. Теория циклов всеобщей войны // Альманах «Время мира». Вып. 3, 2003. –С. 436-454.
7. Нефедов С.А. О демографических циклах и фракталах // Фракталы и циклы развития систем. –Томск, 2001. –С. 103-109.
8. Нефедов С.А. Теория демографических циклов и социальная эволюция древних и средневековых обществ Востока // Восток, 2003. –№ 3. – С. 5-22.
9. Цирель С.В. Циклы аграрных империй // <http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/182185.html>
10. Черных Е.Н. В волнах единого океана // Знание-Сила, апрель 1984. – С. 21-23.
11. Черных Е.Н. Эпоха раннего металла: темп и ритм кардинальных инноваций. Труды Государственного Исторического музея, вып. 113. –М., 2000. – С. 29-40.
12. Шильман М.Е. Опыт статистического анализа параметров и эволюции сложных исторических систем // Світ-системна теорія і сучасні глобальні трансформації. Вісник ХНУ, № 487'2000. – С. 73-82.

- 13.Шильман М.Е. Такты истории. –Харьков: Издательство ХГАДТУ, 1998. –187 с.
- 14.Шильман М.Е. Циклические особенности политической истории автономных государственных структур // Вісник ХНУ, № 531'2001. – С. 141-149.
- 15.Bailey M. Natural Catastrophes During Bronze Age Civilizations: Archaeological, Geological, Astronomical and Cultural Perspectives // Second SIS Cambridge Conference, 11-13 July 1997.  
[http://www.meteor.co.nz/nov97\\_1.html](http://www.meteor.co.nz/nov97_1.html)
- 16.Benson E. Ancient civilizations shaken by quakes, say Stanford scientists // Stanford Report, January 8, 2002.
- 17.Bloch D. Archive Changes in Ocean Level and Albedo of Polar Ice Caps: Estimated ocean level changes in pre-historic and historic times // <http://www.salt.org.il/sealevel.html>
- 18.Bosworth A. World Cities and World Economic Cycles // Civilization and World Systems: Studying World-Historical Change, ed. Stephen K. Sander-son, AltaMira Press, 1995. – P.206-227.
- 19.Catalog of Significant Earthquakes 2150 B.C.-1991 A.D. by Paula K. Dunbar, Patricia A. Lockridge, and Lowell S. Whitewide. (From NGDC publication, «Catalog of Significant Earthquakes 2150 B.C.-1991 A.D.», Report SE-49) // [http://ns.noaa.gov/NESDIS/NESDIS\\_Home.html](http://ns.noaa.gov/NESDIS/NESDIS_Home.html)
- 20.Chandler T. Four Thousand Years of Urban Growth. An Historical Census. The Edwin Mellen Press, 1987.
- 21.Chase-Dunn Cr., Willard A. Systems of Cities and World-Systems: Settlement Size Hierarchies and Cycles of Political Centralization, 2000 BC-1988 AD // Presented at the annual meeting of the International Studies Association, Acapulco March 24-27, 1993. Appendix A: <http://www.soc.jhu.edu/cd/Appendic/citypop5.xls>
- 22.Chase-Dunn Cr., Thomas D. Hall Cross-World-System Comparisons. Similarities and Differences // Civilization and World Systems: Studying World-

- Historical Change, ed. Stephen K. Sanderson, AltaMira Press, 1995. – P. 109-135.
23. Chase-Dunn Cr., Hall T. Rise and Demise: Comparing World-Systems. Westview Press, 1997.
24. Chase-Dunn Cr., Alvarez A., Manning S. Power and Size: Urbanization and Empire Formation in World-Systems // Presented at the session on «Systems of cities: past and present» at the annual meeting of the American Sociological Association, Anaheim, August 21, 2001.  
<http://irows.ucr.edu/research/citemp/asa01/asa01.htm>
25. Chernykh E.N. Ancient metallurgy in the USSR. USSR: the early metal age. Transl. by S. Wright. Cambridge University Press, 1992.
26. Dayton J. Santorini and the collapse of the Bronze Age Civilization // Environmental Catastrophes and Recoveries in the Holocene. Dept. of Geography & Earth Sciences, Brunel University, Uxbridge, United Kingdom, Aug. 29 - Sept. 2, 2002.
27. Dupuy R. Ernest, Dupuy Trevor N. The Encyclopedia of Military History from 3500 BC to the Present. 2<sup>nd</sup> rev. ed. New York: Harper & Row, 1986.
28. Frank A.G, Gills B.K. A Structural Theory of the Five Thousand Year World System // University of Toronto, University of Newcastle, 31 Jul 1997.
29. Frank A.G. Bronze Age World System Cycles // Current Anthropology, Vol. 34, No. 4, 1993.
30. Frank A.G. On «New World History». Reflection prompted by the selections in The New World History. A Teacher's Companion. (Ed. by Ross E. Dunn, Bedford/St. Martins, 2000).
31. Frank A.G., Gills B. The Cumulation of Accumulation // The World System: Five Hundred Years or Five Thousand? London & N.Y.: Routledge, 1996. – P. 81-114.



32. Frank A.G. Toward Humano- And Eco-Centrism: Unity in Diversity, Not Clash of Civilizations // Presented at the UNU Conference on Dialogue of Civilizations Tokyo and Kyoto, July 31-August 3, 2001.
33. Gimbutas M. The Civilization of the Goddess. Ed. by J. Marler, Harper, San Francisco, NY, 1991.
34. James P., Thorpe I.J., Kokkinos N., Morkot R., Frankish J. Centuries of Darkness: A Challenge to the Conventional Chronology of Old World Archaeology. London: Jonathan Cape, 1991. –xxii + 434 pp.
35. Kuniholm P.I. Archaeological evidence and non-evidence for climatic change // S.J. Runcorn and J.-C. Pecker, eds., The Earth's Climate and Variability of the Sun Over Recent Millennia, Phil. Trans. R. Soc. Lond., 1990. – P. 645-655.
36. Kuniholm P.I. Climatology // The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East, Eric M. Meyers, ed., New York, Oxford University Press, 1997. – P. 37-38.
37. McEvedy C., Jones R. Atlas of World Population History, Penguin, 1980. – 368 p.
38. Modelski G. Cities of the Ancient World: An Inventory (-3500 to -1200). July 10, 1997 // <http://faculty.washington.edu/modelski/CITI2.html>
39. Modelski G., Thompson W.R. Leading Sectors and World Powers: The Co-evolution of Global Economics and Politics. University of South Carolina, 1996.
40. Nur A. The Collapse of Ancient Societies By Great Earthquakes // Natural Catastrophes During Bronze Age Civilisations: Archaeological, geological, astronomical and cultural perspectives. Ed. by Benny J. Peiser, Trevor Palmer and Mark E. Bailey. British Archaeological Reports -S728: Archaeopress, Oxford, 1998. – pp.252.
41. Nur A. The End of the Bronze Age by Large Earthquakes? // World Archaeological Congress 4. University of Cape Town. 10th-14th January 1999. Symposium: Catastrophism, Natural Disasters, and Cultural Change.

42. Nur A. Armageddon's Earthquakes // World Archaeological Congress 4. University of Cape Town. 10th-14th January 1999. Symposium: Catastrophism, Natural Disasters, and Cultural Change.
43. Ober J. Models and Paradigms in Ancient History // The Ancient History Bulletin, 3.6 (1989). –P. 134-137.
44. Peiser B. Comparative Stratigraphy of Late Holocene Sediments & Destruction Layers Around the World: Geological, Climatological and Archaeological Evidence and Methodological Problems // SIS Conference «Natural Catastrophes during Bronze Age Civilisations». Fitzwilliam College, Cambridge, 11th-13th July 1997.
45. Russel C., Russel W.M.S. Population Crises and Population Cycles. Galton Institute, London, 1999. –124 p.
46. Shilman M. The Statistical Evidences for the Global Rhythm of Political Centralization // Третья международная конференция «Иерархия и власть в истории цивилизаций». Тезисы докладов. –М.: Ин-т Африки РАН, 2004.
47. Taagepera R. Size and Duration of Empires: Systematics of Size // Social Science Research 7:108-27, 1978.
48. The Global Volcanism Program Holocene volcano database // National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington, <http://www.volcano.si.edu/gvp/world/allvolcs.htm>
49. Thompson W.R. C-waves, central-hinterland conflict, and regime change in the ancient Near East: Early impacts of globalization processes? // Annual meeting of American Schools of Oriental Research, Denver, Nov., 2001.
50. Thompson W.R. Trade pulsations, collapse, and reorientation in the ancient world // Annual meeting of American Schools of Oriental Research, Denver, Colorado, November, 2001.
51. Thompson W.R. Eurasian C-wave crises in the first millennium B.C. // Annual meeting of Political Economy of the World-System (PEWS), Riverside, California, May, 2002.

52. Weiss H. Late 3rd Millennium Abrupt Climate Change and Social Collapse in West Asia and Egypt // Dalfes, Kukla, Weiss (eds.) 3rd Millennium BC Climate Change and Old World Collapse. Heidelberg/Berlin: Springer Verlag 1997. –P. 718-720.
53. Weiss H. Sea-Floor Dust Shows Drought Felled Akkadian Empire // SCIENCE, Vol 279, 16 january 1998. –P. 325-326.
54. Weiss H. The Sandcrossers, in space and time // «Environmental Catastrophes and Recoveries in the Holocene». Dept. of Geography & Earth Sciences, Brunel University, Uxbridge, UK, Aug. 29 - Sept. 2, 2002.
55. Weiss H., Bradley R.S. What Drives Societal Collapse? // SCIENCE, Vol 291, 26 january 2001. –P. 609-610.